

Truyện ngắn Nga

Ngô Thế Phúc dịch

Григорий Мопантин



Rạng Đông xuất bản

Truyện ngắn Nga
Ngô Thế Phúc dịch

Григорий Успенский

In lần đầu trong "TRUYỆN NGẮN XÓ VIẾT" Tập I
Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1987



Rạng Đông xuất bản



Isaac Babel (1893–1941)

Tiểu sử

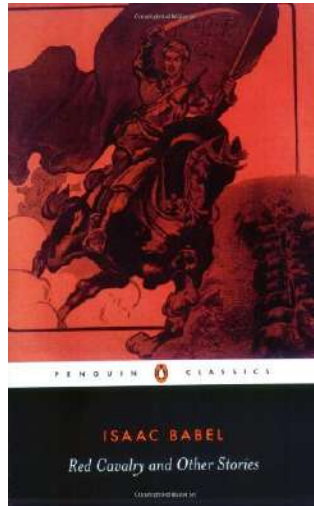
Isaac Babel (1894 – 1941) được đánh giá là nhà văn Do Thái đầu tiên bước vào văn đàn Nga với tư cách là một tác giả văn xuôi Nga. “Babel đã trải qua thời thơ ấu và thời thanh niên ở Odessa, chịu đựng cảnh đau khổ trong ghetto (khu vực cư trú dành riêng cho người Do Thái). Babel học giỏi, từ nhỏ cho đến khi 16 tuổi ông đã học tiếng Do Thái, tiếng Pháp, Kinh Thánh, Kinh Talmut. Babel đến với văn chương từ rất sớm. 15 tuổi ông đã viết những truyện ngắn đầu tiên bằng tiếng Pháp. Giống Gogol, 1915 ông đến Peterburg ôm ấp mộng văn chương. 1916 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời Babel khi nhà văn gặp được Gorky. Gorky đồng ý in truyện ngắn của Babel. Nhà văn lão thành khuyên Babel đi thực tế để có vốn sống và viết. Thế là từ một chàng công tử Do Thái Babel đã trở thành một người lính của Quân đoàn Kỵ binh số Một, tham gia vào các công tác cách mạng (làm việc trong các ủy ban quân sự cách mạng, làm phóng viên, làm ở nhà in...).

Tập đoàn quân Kỵ binh ra đời năm 1926 – là tập hợp những truyện ngắn Babel viết về cuộc sống, chiến đấu của Quân đoàn Kỵ binh số Một trên mặt trận truy quét quân Ba Lan và Bạch vệ thời kỳ những năm 20 – 30 của thế kỷ XX. Ngay từ khi mới ra đời tác phẩm đã tạo ra hai luồng dư luận trái chiều: một ủng hộ Babel, ca ngợi Tập đoàn quân Kỵ binh; còn một phê phán, lên án kịch liệt tác phẩm này, thậm chí còn buộc tội tác giả của nó. Tương phản trở thành một thủ pháp được sử dụng hữu hiệu trong các tác phẩm của Babel, nhất là Tập đoàn quân Kỵ binh nhằm tạo ra muôn vàn khuôn mặt cách mạng, chiến tranh và những suy ngẫm về sự sống, cái chết...

Trong 25 năm cầm bút Babel để lại không nhiều tác phẩm: hai vở kịch (Hoàng hôn, Maria), ba tập truyện ngắn (Tập đoàn quân Kỵ binh, Truyện ngắn Odessa, Truyện ngắn); nhưng những tác phẩm của ông đều được đánh giá rất cao, đặc biệt là truyện ngắn. Nhưng 13 năm sau thời điểm Tập đoàn quân Kỵ binh ra đời (1939) Babel cùng nhiều nhà văn khác bị bắt một cách bí mật, bị ép buộc phải nhận những tội danh vô lí trong đó có tội “phản bội Tổ quốc”. Ông bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự vào ngày 26/ 1/ 1940 và bị hành quyết ngày 17/ 3/ 1941, khi ông 47 tuổi. Suốt 15 năm sau đó, tên ông bị xoá hẳn trong sách vở văn chương của Liên Xô. Từ năm 1954, các tác phẩm của ông mới được công nhận.

Tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt

- Babel I.E: Tuyển tập (Nguyễn Thụy Ứng dịch từ tiếng Nga, I. Erenburg và Nguyễn Thụy Ứng giới thiệu). Nxb. Văn hóa thông tin, H, 2000.



Tập đoàn quân kỵ binh bán tiếng Anh

Исаак Бабель, Ги де Мопассан, Беня Крик и другие

По-крупному блистательному художнику русской словесности Исааку Бабелю не повезло дважды. Уж очень хорошо он говорил по-французски, уж очень дружные аплодисменты «срывал», выступая в парижских залах перед проклятыми буржуа. Второй раз ему не повезло уже посмертно как писателю, возвращённому классиком в жизнь советских 50-х, когда в 91-м был демонтирован СССР.

Судьба Бабеля – как бы лакмусовая бумажка российского общества. При соприкосновении с его творчеством **краснеют белые и белеют красные**, как бы олицетворяя этим великий лозунг анархистов. Ему, выразителю *своего* времени, в сегодняшнем мире практически не досталось места. Для нынешних демократов он оказался слишком революционером, слишком певцом взвихренной жизни с кровью и пылью на взмыленных грибах революционной Конармии. Для нынешних левых он остался слишком, как сказать, одесситом. Увы, для многих в нынешней России эти обстоятельство могут оказаться важнее таланта, справедливости, истины и красоты. Таким образом, он не удержался ни на левом, ни на правом крыле современного постсоветского общества. Про центр не говорю – центра нет до сих пор...

А ведь 13 июля 2014 года ему могло бы исполниться сто двадцать лет. Как говорится, так долго не живут! Но некоторым всё-таки удаётся. В своей автобиографии он возвращается к началу жизни, к тому, что он родился «в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая II училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду или в греческие кофейни играть в бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешёвое бессарабское вино...»

В этих кофейнях рождался писатель, язык которого был замешан на густой мудрости Ветхого Завета пополам с ярким одесским говором и любовью к французской изящной словесности. Он знал цену каждого звука русского языка. И это при том, что первые писательские опыты Бабеля появились на свет на французском языке! И эту любовь к французской литературе Исаак Бабель пронёс через всю свою жизнь и расписался в ней в блистательной новелле «Ги де Мопассан». Скоро полвека, как меня покорила словесная магия этой вещи, и я до сих пор не могу расстаться с её трагическим обаянием. Но вернёмся в прошлое, в первую четверть XX века, когда в 1915 году Бабель оказался в Петрограде. Это была авантюра, из тех, что всю жизнь обожал этот жизнелюб: он не имел права на жительство в столице, но «снял» погреб на Пушкинской улице, который сдавал ему некий официант, большой приверженец Бахуса, науке коего он предавался неустанно и потому пребывал пьяным с утра до вечера. А Бабель писал и разносил свои творения в питерские журналы.

Увы, ему предлагали устроиться куда-нибудь в лавку. Вместо этого он оказался в гостях у Максима Горького, и тот неожиданно напечатал первые рассказы Бабеля в своей «Летописи». Это произошло в ноябре 1916 года и закончилось тем, что Бабеля привлекли за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001-й статье тогдашнего Уголовного кодекса.

«Он научил меня необыкновенно важным вещам», – вспоминает Бабель в своей автобиографии. А потом Максим Горький, великий покровитель ещё неизвестных талантов, отправил своего молодого питомца «в люди».

«В людях» прошло семь лет жизни. Кем только не пробовал быть Бабель и куда только не кидало молодого автора. Солдат и служащий, рабочий, газетный корреспондент, он ездил по России, мотался по фронтам, умудрился даже послужить в ЧК и в начале 20-х годов снова начал печатать свои рассказы. Из них сложилась книга «Конармия», и российской общественности стало ясно: на свет явился новый писатель.

И ведь какой писатель! Один из самых яростных и прекрасных художников русской словесности. Он сам знал это, потому что постиг цену слова, умел им пользоваться и заплатил за это сполна. Семён Будённый, командарм Первой конной армии, был человеком конкретным. Он не видел разницы между жизнью и искусством слова. Потому и возмутился книгой писателя и направил в «Правду» открытое письмо Максиму Горькому. Оно было напечатано 26 октября 1928 года. Горький, наоборот, восхищался рассказами «Конармии», но он уже был не властен влиять своим мнением на советскую действительность. Вскоре он сам оказался под прицелом, проживая в своей роскошной раззолоченной клетке, которой стал подаренный ему советским правительством особняк беглеца Рябушинского на углу у Никитских ворот.

Мне думается, знаменитое название рассказа Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире» как нельзя точнее подходит к жизни и творчеству Бабеля. Он воистину жил в таком мире. Мне хочется сблизить друг с другом творческие позиции этих двух, в общем-то, разных писателей. Они оба жили в этом прекрасном и яростном – абсолютно безумном

мире революции, содеянной во имя справедливости. Просто Бабель открыл для себя жизнь людей военного коммунизма, а Платонов вскрыл пласт тех, кто уже не воевал, а пытался строить социализм и помахивал уже не саблями, срубая головы, как одуванчики, а киркой с лопатой, подводя под новое общество развёрстый зияющий котлован...

Исаак Бабель сгинул в этом котловане. Его арестовали 15 мая 1939 года и дали десять лет без права переписки. Он был объявлен французским шпионом. Его любовь к мистификациям, о которых писал Илья Эренбург, преследовала Бабея и после смерти. Долгое время была неизвестна дата его кончины. В справках о смерти, выдаваемых вдове писателя А. Пирожковой, в графе причина смерти и место смерти стояли прочерки. Вдова Бабея писала письма в различные инстанции, она обратилась в 1954 году, когда начались реабилитации незаконно осуждённых, к Генеральному прокурору СССР Р. Руденко. Так выяснилось, что писателя не стало 27 января 1940 года, на год раньше, чем указанная дата смерти в справке из загса. Так или иначе писатель был сначала реабилитирован, а потом постепенно началась его посмертная писательская жизнь.

Я никогда не забуду, какое ошеломительное впечатление произвела первая после долгого забвения книга Исаака Бабея, вышедшая в 1957 году в безвестном кемеровском издательстве.

Второе незабываемое впечатление – портрет Бабея в трёхтомнике мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Кто знает, может быть, Илья Григорьевич что-то напридумывал и приукрасил в образе Исаака Бабея, но вместе с тем он нарисовал его именно таким, каким должен был быть автор яростной «Конармии» и раблезианских «Одесских рассказов», щемящего «Моего первого гонорара» и ослепительного «Ги де Мопассана». А главный герой «Одесских рассказов» писателя биндюжник и бандит Бенья Крик словно угадан в разборках нашего времени – 90-х годов XX века.

Но всё это было давно, и сегодня имеет значение только то, что Бабель и поныне, уже в XXI веке, остаётся одним из самых яростных и самых блистательных писателей из тех, кто брался за перо в России первой трети XX века.

Вдова Исаака Бабея – Антонина Пирожкова осталась верна памяти о муже и написала воспоминания о Бабеле. И не только о нём. Она умерла в США – в штате Флорида на 102-м году жизни. Произошло это 12 сентября 2010-го. И в том же 2010 году в Одессе открыли памятник прекрасному художнику российской словесности – писателю Исааку Бабелю. Хочется верить, что его не снесут боевики с киевского майдана.

GHI ĐỜ MÔPATXĂNG

Mùa đông năm mười sáu tôi nương náu ở Petecburg với tấm căn cước giả và không một xu dính túi. Người cho tôi ở nhờ là một anh giáo dạy văn học Nga tên là Alecxây Kazansev.

Anh sống ở Peski, một khu phố lạnh lẽo, vàng xỉn, hôi hám. Anh kiếm tiền để phụ vào số tiền lương còn bằng cách dịch tiếng Tây Ban Nha; thời ấy Blasko Ibanes đang nổi như cồn.

Kazansev chưa từng đặt chân đến Tây Ban Nha, dù chỉ là đi ngang qua, nhưng tình yêu xứ ấy xâm chiếm toàn bộ con người anh. Anh biết hết mọi lâu đài, công viên, sông ngòi ở Tây Ban Nha. Ngoài tôi ra, chỗ Kazansev còn cả một lô nhưng kẻ bị bật ra khỏi cuộc sống ngay lành. Chúng tôi sống rất đói rách. Thảng hoặc, mấy tờ báo lá cải mới dành vài dòng chữ nhỏ đăng những mẫu tin vặt của chúng tôi.

Sáng sáng tôi la cà ở những khu nhà xác và đồn cảnh sát.

Người hạnh phúc hơn trong bọn vẫn là Kazansev. Anh còn có Tây Ban Nha là Tổ quốc.

Tháng mười một, tôi được giới thiệu một chân thư lại ở nhà máy Ôbukhốp, một chỗ làm không đến nỗi tồi tránh cho tôi khỏi phải vào lính.

Tôi đã từ chối không làm một gã thầy ký.

Ngay từ lúc ấy – mới hai chục tuổi đầu – tôi đã tự nhủ: thà đói khát, tù đầy, lang bạt còn hơn ngồi lỳ ở phòng giấy suốt mười giờ đồng hồ mỗi ngày. Chẳng phải có gì táo tợn lắm trong lời nguyện ấy, nhưng tôi đã và sẽ không đời nào vi phạm nó. Tôi vẫn giữ được cái phong tục của ông cha: Chúng ta sinh ra trên đời là để tận hưởng thú vui làm lụng, đánh nhau, yêu đương, chúng ta sinh ra là cho những việc ấy chứ không phải vì cái gì khác.

Nghe tôi lý sự, Kazansev cứ xoắn mãi cái chỏm tóc vàng hoe ngẩn ngẩn trên đầu. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt anh pha lẫn vẻ thích thú.

Đến hôm lễ Giáng sinh thì chúng tôi gặp may. Luật sư Benderski, chủ sở hữu nhà xuất bản “Ansiona” có ý định xuất bản một tác phẩm mới của Môpatxăng. Việc dịch do Raisa, vợ ông, đảm nhiệm. Cái trò chơi quý tộc chẳng đi đến đâu.

Người ta hỏi Kazansev, người dịch tiếng Tây Ban Nha xem anh có biết ai giúp việc được cho Raisa không. Kazansev ra lệnh cho tôi.

Hôm sau, khoác một cái áo vét đi mượn, tôi đến nhà Benderski. Họ sống ở góc đường Nevski và Môika, trong một ngôi nhà xây bằng đá hoa cương Phần Lan, bên ngoài có ốp những hàng cột giả màu hồng, lỗ châu mai và gia huy chạm đá. Những tay chủ nhà băng mất gốc, mới cải đạo và phát lên nhờ nghề chạy hàng đã cho xây lên ở Pêterburg trước ngày có chiến tranh hàng lô thứ lâu đài chường mắt, ngạo nghễ đến lỗ bịch ấy.

Cầu thang trải một tấm thảm đỏ. Ở chiều nghỉ cầu thang có đặt những con gấu nhung đứng chồm hai chân lên.

Trong những cái mồm há hốc của chúng các núm thủy tinh lóe sáng.

Vợ chồng nhà Benderski sống trên tầng ba. Ra mở cửa là một cô hầu gái đội mũ mào, ngực cao. Cô ta đưa tôi vào gian tiếp khách bày biện theo lối Slavơ cổ. Trên tường treo những bức tranh gam xanh lơ của Rerikhơ – những tảng đá và quái vật thời tiền sử. Khắp các góc nhà – đặt trên bệ, bày la liệt các tượng thánh kiểu cổ. Cô hầu gái có bộ ngực cao diều khắp phòng một cách trịnh trọng. Cô ta người cân đối, mắt cận thị, vẻ kiêu kỳ. Trong cặp mắt xám mở to của cô lộ rõ vẻ phóng đáng trơ trên. Cô đi lại chậm chạp. Tôi thoáng nghĩ rằng khi yêu chắc hẳn cô ả vằn vữa cuồng nhiệt và sành sỏi lắm. Tấm rèm gấm treo nơi cửa ra vào chợt lay động. Bước vào phòng, mang một bộ ngực đồ sộ là một phụ nữ tóc đen có cặp mắt màu

hồng. Chẳng cần nhiều thời gian cũng nhận ra là bà Benderski là thuộc loại phụ nữ Do Thái làm cho người ta say mê, đến đây từ Kiev và Pôntava, từ những miền thảo nguyên, những thành phố sung túc trồng đầy dẻ và keo. Tiền của do các đức ông chồng khéo xoay xở được những người đàn bà này chuyển hóa thành lớp mỡ hồng hào nơi bụng, gáy, trên đôi vai tròn lẳn. Cái khoe cười mỉm ngái ngủ, mượt mịn của họ khiến các chàng sĩ quan đồn trú mê mẩn như bị hớp hồn.

- Mopatxăng là niềm say mê duy nhất của đời tôi, - Raisa nói với tôi.

Cố giữ cho cặp đùi đồ sộ đừng đong đưa quá, chị ta ra khỏi phòng rồi trở lại với bản dịch “Cô Garriet”. Trong bản dịch ấy của chị ta không còn để lại chút dấu vết nào câu chữ của Mopatxăng, cái giọng văn khoáng đạt, mượt mà, nghe như có tiếng thở dài say đắm. Những câu văn của bà Benderski đúng văn phạm đến mức khó chịu, tẻ ngắt và thô kệch – hết lối viết tiếng Nga ngày trước của dân Do Thái.

Tôi đem tập bản thảo về nhà và trong gian gác áp mái của Kazansev – giữa đám người đang ngủ say – suốt đêm cặm cụi gọt đẽo bản dịch của người. Kể ra thì công việc ấy cũng không đến nỗi buồn tẻ như tôi nghĩ. Câu cú được sửa sang vừa hay lại vừa dở cùng một lúc. Bí quyết là ở sự xoay chuyển khó nhận thấy được. Cây đòn bẩy phải ở trong tay và ấm nóng lên. Và chỉ được xoay tay đòn một lần, chứ chớ đến hai.

Sáng ra, tôi đem đến bản thảo đã sửa xong. Raisa đã thật lòng khi nói chị mê Mopatxăng. Chị ngồi bất động suốt thời gian đọc lại bản dịch, tay đan chéo vào nhau: hai cánh tay mịn màng bông thông, vầng trán trắng nhợt, viền dăng ten giữa hai bầu vú bị dòn ép xô lệch đi, hết dăng lên lại hạ xuống.

- Anh đã làm cách nào vậy?

Lúc ấy tôi đã nói về văn phong, về đội quân từ ngữ, đội quân mà trong đó sử dụng đủ loại khí giới. Không có thứ sắt thép nào có sức làm tê buốt

trái tim người ta bằng một dấu chấm câu đặt đúng chỗ. Chị ta lắng nghe, đầu cúi, đôi môi thoa son hé mở. Một ánh đèn sáng lên trên mái tóc chải dầu bóng và để ngời. Đôi bắp chân mang tất ôm khít, khỏe và thon duỗi trên tấm thảm trải sàn.

Cô hầu gái đưa cặp mắt dâm đãng trở trên nhìn sang phía khác, bưng mâm dọn bữa sáng lên.

Ánh nắng Peterburg lấp lánh rọi xuống tấm thảm trải sàn mấp mô bột màu. Hai mươi chín tập sách của Mòpatxăng xếp chặt cái giá nhỏ phía trên bàn viết. Tia nắng lung linh nhảy nhót vượt ve những gáy sách bọc da, nắm mộ tuyệt vời của một trái tim người.

Cà phê sáng đem lên cho chúng tôi đứng trong những cái tách màu xanh lơ, và chúng tôi bắt đầu dịch “Idillia” (“Khúc đồng dao”). Ai mà chẳng nhớ truyện ngắn kể về anh chàng thợ mộc bú bầu sữa đang căng tức của cô nữ mẫu đầy đà. Chuyện ấy xảy ra trên một chuyến tàu chạy từ Nisơ đến Macxây, vào một buổi trưa oi ả, ở xứ hoa hồng, quê hương của hoa hồng, nơi mà những cánh đồng trồng hoa tràn xuống tận mép biển...

Tôi ra khỏi nhà Benderski với hai mươi lăm rúp tạm ứng trước. Cái hội của chúng tôi ở Peski tối ấy say ngất ngư chẳng khác gì đàn ngỗng no căng nước. Chúng tôi đã dùng thìa mà xúc món trứng cá tằm và nhắm nó với món giò lòng. Khi đã chệnh choáng, tôi quay ra bãi nhạo Tônstôi:

- Cụ hải rồi, cái cụ bá tước của các anh ấy, cụ nhát cáy... Tôn giáo của cụ là sợ hải... Hải đói, hải già, thế nên ngài bá tước bèn may cho mình một cái áo bằng đức tin...

- Rồi sao nữa? Lắc lắc cái đầu chim, Kazansev hỏi tôi.

Chúng tôi lịm luôn bên chân giường. Tôi mơ thấy Katia, chị thợ giặt đã bốn chục tuổi, sống ở dưới nhà. Sáng sáng chúng tôi thường xuống chỗ chị ta xin nước sôi. Ngay đến mặt chị ta tôi cũng còn chưa kịp nhìn cho kỹ, ấy

thế mà trong mơ có trời biết tôi và Katia đã làm những trò gì. Chúng tôi đã quần nhau hôn hít đến mệt nhoài. Sáng hôm sau, không cầm lòng được, tôi đã ghé xuống chỗ chị ta xin nước sôi.

Đón tôi là một người đàn bà đáng ừ ừ, vai vắt khăn choàng, mớ tóc xám màu tro rối tung và đôi tay sưng mọng vì dầm nước.

Kể từ hôm ấy, sáng nào tôi cũng ăn ở đằng nhà Benderski. Trong căn gác áp mái của bọn tôi có thêm được một cái bếp lò mới, cá trích hộp, sô-cô-la. Hai lần Raisa còn đưa tôi ra đảo chơi. Không dừng được, tôi đã kể cho chị ta nghe về thời thơ ấu của mình. Câu chuyện kể nghe thâm đậm đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Từ dưới viền mũ bằng lông điếu thừ, đôi mắt sợ hãi long lanh nhìn tôi. Hàng mi hung khê chớp đợm về thương xót.

Tôi đã làm quen với chồng Raisa – một tay Do Thái mặt búng, đầu hói trụi và người dẹt lét, nhìn nghiêng cứ như chực dướn lên bay. Nghe đâu ông ta là chỗ thân cận với Rasputin. Những khoản lợi tức ông ta thu được nhờ chạy hàng quân nhu khiến ông ta có vẻ như một kẻ bị ma ám. Mắt ông ta lơ lảo, với ông, tấm màn che thực tại đã rách nát rồi. Raisa thường ngại ngùng khi phải giới thiệu với chồng những người quen mới của mình. Vì còn non nớt nên hàng tuần sau tôi mới nhận ra điều đó.

Sau Tết, nhà Raisa có hai người em gái từ Kiev lên chơi. Đâu như tôi có mang tới tập bản thảo truyện “Lời thú nhận” và vì không gặp Raisa nên đến tối mới trở lại. Mọi người đang dùng bữa trong phòng ăn. Từ phía ấy vọng ra tiếng cười lạnh lạnh như ngựa hí của đàn bà, và tiếng ồm ồm của đàn ông đang cơn hứng. Ở những nhà giàu không có nền nếp, người ta ăn uống rất ồn ào. Thứ tiếng ồn rất Do Thái, rộ lên từng đợt và về cuối trở nên du dương. Raisa ra đón tôi trong bộ váy áo dạ hội hở lưng. Chân đi giày láng bóng, bước vụng về.

- Tôi say rồi, chú bồ câu ạ – Rồi chị chìa cho tôi đôi tay đeo đầy những chuỗi bạch kim và những ngôi sao hồng ngọc.

Tấm thân chị dong đưa, dướn cao như con rắn ngọc lên theo tiếng nhạc. Chị ta lắc lắc cái đầu uốn quăn làm cho mớ vòng khuyên kê lạnh canh, rồi bất thần ngã vật ra chiếc ghế bành trạm trổ kiểu Nga cổ. Trên khoảng lưng trần xoa phấn của chị hẳn rõ những vết tím bầm.

Phía sau tường lại vang lên tiếng phụ nữ cười. Hai cô em có ria mép từ phòng ăn đi ra, cũng vú to, người phổng phao y hệt Raisa. Ngực các cô ưỡn ra, tóc đen xõa tung. Cả hai đều lấy chồng người trong họ Benderski của mình. Căn phòng tràn ngập tiếng phụ nữ cười đùa, lối đùa cợt của những người đàn bà đã trưởng thành. Hai ông chồng ủ ấm cho các cô bằng áo bành-tô da hải sư, khăn choàng Ôđenbuốc, đi cho họ giày da cao cổ; sau lớp lông tuyết xù lên của vành khăn chỉ còn thấy đôi má đỏ lựng, chòm mũi trắng như sứ và ánh mắt cận thị của dân Seemit. Đùa chán, họ đi đến nhà hát hôm ấy đang diễn vở “Judith” với Saliapin sắm vai chính.

- Tôi muốn làm việc, - Raisa thì thầm, dang hai cánh tay trần, chúng ta đã bỏ phí mất cả tuần nay rồi...

Nàng sang phòng ăn lấy một cái chai và hai cốc lớn. Bộ ngực không mang nịt núng nính qua lần áo, hai núm vú hẳn rõ qua nền lớp lụa mềm.

- Thứ quý, - Raisa vừa nói vừa rót rượu ra, - loại nho xạ năm 83 đấy nhé, chồng tôi mà biết thì ông ấy giết tôi...

Tôi chẳng có việc gì với thứ nhục đậu khấu năm 83, và cũng không hề có ý định nốc cạn ba vại liền. Chúng lập tức lôi tuột tôi đến những hẻm phố chật chội những đóm lửa màu da cam và vắng nghe có tiếng nhạc.

- Tôi say rồi, chú bồ câu ạ... Hôm nay ta làm gì đây?

- Hôm nay ta làm “*L’aveux*”...

- Ở phải, “Lời thú nhận”. Mặt trời, đó là nhân vật của truyện ngắn ấy, *le soleil de France*¹... Những giọt nắng chảy tràn, nhỏ xuống khuôn mặt nàng

Selesta tóc hung, biến thành những nốt tàn nhang. Những tia nắng rọi thẳng, rượu vang và rượu táo khiến nước da của chàng đánh xe Polit láng bóng lên. Mỗi tuần hai bận, Selesta theo xe vào thành phố bán gà, trứng và váng sữa. Nàng trả cho Polit mỗi chuyến xe mười xu công chở mình và bốn xu cho giỏ hàng. Và cứ mỗi chuyến đi như thế, Polit lại nháy mắt hỏi nàng Selesta tóc hung “Bao giờ thì mình được vui thú với nhau, *ma belle*”² – “Thế nghĩa là sao cơ, anh Polit?”. Nhấp nhồm trên ghế xà ích, anh chàng đánh xe giải thích: “Vui thú với nhau tức là vui thú với nhau, bố khỉ...”. “Một khi trai cận gái kề, lọ là đàn sáo mới làm nên duyên...”.

- Em là em chả ưa cái lối đùa nhả thế đâu, anh Polit. Selesta đáp là giật phắt cái vạt váy phủ trên đôi bắp chân chắc nịch mang tất đỏ lại phía mình.

Nhưng cái anh chàng Polit quý sứ nọ cứ cười hô hố, ho sặc sụa mãi, - “rồi sẽ có lúc chúng mình vui thú với nhau, *ma belle*” - và những giọt lệ vui lăn trên khuôn mặt đỏ ửng màu máu đặc quánh và màu rượu.

Tôi đã uống cạn một cốc nữa thứ rượu nho quý giá kia. Raisa cũng chạm cốc với tôi.

Cô hầu gái có cặp mắt trơ tráo đi ngang qua phòng rồi biến mất.

*Ce diable de Polite*³ ... Trong hai năm nay Selesta đã trả cho anh ta bốn mươi tám quan. Tức là kém hai quan nữa thì tròn năm chục. Đến cuối năm thứ hai, lúc chỉ có hai người ngồi trên xe, và Polit, đã nốc đầy rượu tàn trước khi đi, lại hỏi cái câu thường lệ của mình: “Thế hôm nay chúng mình đã vui thú với nhau được chưa, cô Selesta?” thì nàng đáp, mắt nhìn xuống: “Em xin chiều anh, anh Polit...”.

Raisa gục xuống bàn mà cười rữ. *Ce diable de Poliste*...

Cỗ xe đóng một con ngựa trắng còm. Con ngựa trắng còm có cái mõm đỏ loét vì già nua thùng thẳng đếm bước. Cái nắng tươi vui của nước Pháp khuyên tròn cái khoang xe được ngăn cách với thế giới bằng một tấm mui

vải bố sờn bạc phếch. Một khi trai cận gái kề, lọ là đàn sáo mới làm nên duyên...

Raisa chìa cho tôi một cốc vại nữa. Đây là cốc thứ năm.

- *Mon vieux*⁴, vì Môpatxăng...

- Thế hôm nay ta đã vui thú với nhau được chưa, *ma belle*.

Tôi nhoài người ôm lấy Raisa và hôn lên môi nàng. Đôi môi run run và mọng lên.

- Anh ngộ thật đấy! - Raisa lúng búng qua kẽ răng và lùi lại.

Nàng đứng nép vào tường, dang rộng hai cánh tay trần. Trên tay và vai nàng nổi rõ những vết bầm tím. Trong số các thánh bị đóng đinh trên thập giá, đây là đáng có sức quyến rũ mê hồn nhất.

- Hăng cứ ngồi xuống đã nào, anh Polit...

Nàng chỉ cho tôi cái ghế bành màu xanh lừng ngả đóng kiểu slavơ. Lưng ghế ken song gỗ có chạm hình trang trí. Tôi loạng choạng lần đến đó.

Đêm đã lén chuốc thêm vào tuổi trẻ đói khát của tôi một chai rượu nho xạ tám mươi ba năm với hai mươi chín cuốn sách, hai mươi chín quả pháo cối nhồi chặt những xốt xa, thiên tài, đam mê. Tôi đứng bật dậy, xô đổ ghế, quờ tay vào cái giá.

Hai mươi chín tập sách đổ nhào xuống thảm, những trang sách bay tung, những cuốn sách dựng đứng... và con ngựa trắng còm nhom của tôi cất bước.

- Anh ngộ thật đấy, - Raisa gừ gừ.

Tôi ra khỏi ngôi nhà đá hoa cương ở phố Môika vào lúc mười hai giờ, trước khi hai cô em cùng chồng đi xem hát về. Tôi đã đủ tỉnh để lần dọc

theo một bên đường, nhưng chệnh choạng vẫn hay hơn nhiều và tôi cứ chúí hết bên nọ lại dạt sang bên kia, mồm hát văng lên những câu nhăng nhít vừa nghĩ ra. Đọc những quãng đường ngằm giăng hàng chuỗi đèn treo, hơi sương mù dựng thành lớp. Lũ yêu quái gào rú sau những bức tường đang sôi lên. Mặt đường như cắt rời chân các khách bộ hành.

Ở nhà, Kazansev đã ngủ. Anh ta ngủ ngời, đôi chân khăng khiu thọc trong đôi ủng da. Chòm tóc vàng hoe vểnh lên trên đầu anh. Anh thiếp đi bên bếp lò, đầu gục trên cuốn “Đôn Kihote” xuất bản năm 1624. Trên trang bìa phụ cuốn sách có lời đề tặng công tước Đơ Brôglio. Tôi sẽ sàng năm xuống để khỏi làm thức giấc Kazansev, kéo dịch cây đèn lại và bắt đầu đọc cuốn sách của Eduard đơ Menian “Về cuộc đời và văn nghiệp của Ghi đơ Môpatxăng”.

Môi Kazansev mấp máy, đầu nghẹo sang một bên.

Và vào cái đêm ấy, nhờ có Eduard đơ Menian, tôi mới biết rằng Môpatxăng sinh năm 1850, cha là một quý tộc người Normandi và mẹ là Laura đơ Poateven, em họ của Flôbe. Suốt hai mươi lăm năm trời ông đã gánh chịu trận công phá đợt đầu của bệnh giang mai di truyền. Sinh lực tràn trề và bản tính tươi vui của ông chống trả bệnh tật quyết liệt. Ban đầu ông khổ sở vì những cơn đau đầu và đã dự cảm triệu chứng của căn bệnh khủng khiếp. Rồi đến lượt bóng ma mù xuất hiện. Mắt ông kém hẳn. Mỗi ngày vực căn bệnh ám ảnh khiến bệnh điên của ông ngày càng nặng, ngày càng sợ tiếp xúc và trái tính hơn. Ông đã vật vã một cách điên cuồng, hồi hải dong buồm rong ruổi khắp biển Địa Trung hải, chạy sang Tuynidi, Maroc, Trung Phi, và viết không ngưng tay. Khi đạt tới đỉnh vinh quang, ông đã dùng dao tự cắt cổ mình năm bốn mươi hai tuổi, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn sống. Ông bị người ta đem nhốt vào nhà thương điên. Ở đó, ông đã bò lồm cồm... Dòng cuối cùng trong tờ chúc thư của ông viết:

“*Monsieur de Maupassant va s’animalisier*” (Ngài Môpatxăng đã biến thành một con vật). Ông chết năm bốn mươi hai tuổi. Bà mẹ còn thọ lâu hơn ông.

Tôi đã đọc cuốn sách cho đến hết rồi đứng lên. Sương mù lan ngập cửa sổ và che khuất trời đất. Tim tôi thắt lại. Linh báo sự thật khiến tôi bàng hoàng.

(Rút từ “TRUYỆN NGẮN XÔ VIẾT” tập I, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)

Гюи Де Мопассан

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности - Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей желтой, зловонной улице. Приработком к скудному жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо - он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина-Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору - двадцати лет от роду - я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десять в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства "Альциона", задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного - Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени,

выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха доисторические камни и чудовища. По углам – на поставках - расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

- Мопассан - единственная страсть моей жизни, - сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом "Мисс Гарриэт". В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти, Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно - так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева - среди спящих – всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

- Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная

вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг - прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить "Идиллию". Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

- Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия - страх...

Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

- И дальше? - качая птичьей головой, спрашивая меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, переkreщенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие попуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы - желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали,

ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись "Признания" и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский – с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

- Я пьяна, голубчик. - И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, брэнча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груды их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали "Юдифь" с Шаляпиным.

- Я хочу работать, - пролепетала Раиса, протягивая голые руки, - мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

- Заветная, - сказала Раиса, разливая вино, - мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

- Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

- Сегодня у нас "L'aveu"...

- Итак, "Признание". Солнце - герой этого рассказа, le soleil de France...⁵ Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: "Когда же мы позабудемся, ma belle?"⁶ - "Что это значит, мсье Полит?" Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: "Позабавиться - это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой - музыки не надо..."

- Я не люблю таких шуток, мсье Полит, - ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, - когда-нибудь мы позабудемся, ma belle, - и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...⁷ За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: "А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?" - она ответила, потупив глаза: "Я к вашим услугам, мсье Полит..."

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

- Моп vieux,⁸ за Мопассана...

- А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle.

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

- Вы забавный, - сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

- Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

- Вы забавный, - прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над "Дон-Кихотом" издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль - "О жизни и творчестве Гюи де Мопассана".

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимости и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку - и писал непрерывно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

"Monsieur de Maupassant va s'animaliser" ("Господин Мопассан превратился в животное").
Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную.
Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.



Daniil Alexandrovich Granin (1919)

Tiểu sử

Daniil Alexandrovich Granin sinh ngày 1 tháng 1 năm 1919 là một tác giả sinh ra ở Liên Xô cũ.

Granin bắt đầu viết vào những năm 1930, trong khi ông vẫn là sinh viên kỹ thuật tại Học viện Kỹ thuật Leningrad. Sau khi tốt nghiệp, Granin bắt đầu làm kỹ sư cao cấp tại phòng thí nghiệm năng lượng, và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, ông tình nguyện chiến đấu như một người lính.

Một trong những tác phẩm được ca ngợi rộng rãi đầu tiên của Granin là một câu chuyện ngắn về sinh viên tốt nghiệp có tiêu đề “Phiên bản thứ hai” được xuất bản trên tạp chí Zvezda năm 1949. Granin đã tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật và làm việc như là một nhà văn kỹ thuật trước đây Ông đã đạt được thành công văn chương, nhờ Iskateli (Những người tìm kiếm, 1955), một cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ sự nghiệp của mình trong kỹ thuật. Cuốn sách này nói về hệ thống Xô viết quá quan liêu, có khuynh hướng kiểm chế những ý tưởng mới.

Granin từng là thành viên hội đồng Leningrad của nhà văn, và ông đã giành được nhiều huy chương và danh dự bao gồm cả giải thưởng Nhà nước về Văn học năm 1978 và Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa 1989. Ông đã tiếp tục viết trong thời hậu Xô viết.

Биография

Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в посёлке Вольнь (ныне, Курская область по другим данным — Саратовская область в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны Бакировны.

Согласно официальной биографии, в 1940 году окончил электро - механический факультет Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах, на фронте вступил в ВКП(б). Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, последняя должность на фронте — командир роты тяжёлых танков. Член ВКП(б) с 1942 года.

Сведения из официальной биографии Гранина были опровергнуты литературоведом Михаилом Золотоносовым, который обнаружил, что в архивных документах, обнародованных в общедоступном электронном банке документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» сообщается, что на Кировском заводе Гранин был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, в армию в 1941 году вступил не рядовым, а был направлен в звании старшего политрука, впоследствии служил комиссаром 2-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона (сформирован 2 мая 1942), сведения же о службе командиром танковой роты и награждениях орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1 степени не подтверждаются.

Впрочем, как уточняет Золотоносов, в наградном листе написано, что Гранин участвовал в боях под Псковом в 1941 году и был дважды ранен. Данные о вступлении в ВКП(б) в изученных литературоведом документах расходятся — в наградном листе указан 1940 год, но согласно личному делу из ЦГАИПДСПб, кандидатом в члены партии он стал лишь в 1941 на Кировском заводе.

С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. В дальнейшем — профессиональный литератор. Секретарь, с 1965 года второй секретарь, в 1967—1971 годах первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР. В качестве одного из руководителей ленинградской писательской организации, по мнению Золотоносова, лично ответственен за осуждение И. А. Бродского на судебном процессе 1964 года.

Избирался народным депутатом СССР (1989-1991). В 1993 году подписал «Письмо сорока двух».

Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Был инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». Президент Общества друзей Российской национальной библиотеки; председатель правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачёва. Член Всемирного клуба петербуржцев.

В возрасте 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером о блокаде Ленинграда и войне.

NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT LÊN CÂN...

Người ta làm lễ mai táng họa sĩ Malinin. Người đi đưa đông khiến Serbakov ngạc nhiên. Linh cửu quàn trong một gian phòng lớn, một dòng người đi qua, người ta đem đến hoa bó, hoa vòng. Trong khi đó, ngay sát cỗ quan tài, dòng người chen chúc, ai cũng cố nhìn kỹ người quá cố. Người ta nhòm nhỏ với vẻ mặt tò mò gần như thất thố, thậm chí ngờ vực. Ngay chính Serbakov cũng có cái cảm giác gần như thế, vì đã từ lâu anh không coi Malinin là người còn sống nữa. Về Malinin không hiểu sao không nghe thấy ai nhắc đến và ông hầu như bị quên bẵng đi, vì thế, việc mãi đến bây giờ ông mới chết khiến người ta ngỡ ngàng.

Phía góc xa, bộ tam tấu đang cử nhạc. Ở giữa những bức tranh lồng kính là bức chụp Malinin ngực đeo đầy huân chương và huy chương giải thưởng, đặt trong khung tang. Chính các huân huy chương thì lấp lóa ngay trên những tấm gối đỏ, còn bản thân Malinin lại nằm tách riêng ra, cao hơn, giữa những vòng hoa viếng.

Ban lãnh đạo đã đến, đám tang có ngay được ý nghĩa trọng thể, và thế là không còn thấy cái vẻ bối rối mới rồi nữa.

Khi Serbakov đứng vào vị trí túc trực linh cửu, anh thấy Malinin kề ngay cạnh, nhưng không nhận ra ông. Nghếch chòm râu bạc mà trong ảnh không thấy có, ông già gầy guộc với khuôn mặt sạm nắng, khắc khổ, lạnh lùng đang nheo mắt lại không rõ vì ánh sáng chói quá hay vì những cái nhìn tò mò đang chăm chăm nhìn ông lẫn chót. Malinin trông hoàn toàn không giống ông thầy đường bộ mà Serbakov vẫn nhớ hồi còn ở trường, một người đã quen được chú ý, vững tin ở bàn tay không bao giờ lầm lỡ của mình. Cái ông Malinin ấy tính hay giễu cợt, vui vẻ, rạng ngời hào quang thành đạt. Ông cũng xuất hiện thế trong các bài điều kế tiếp nhau nói về ông. Các diễn giả lúc thì nhìn người quá cố, lúc lại nhìn vào giấy, dường như không tin vào mắt mình. Người ta kể ra các giải thưởng, chức vụ, nêu

tên những cuộc triển lãm và những bức tranh đã làm xôn xao dư luận một thời. Cứ theo đó thì Malinin xứng đáng với vinh quang của một họa sĩ tầm cỡ, xuất sắc, nổi tiếng. Quả là cho đến giờ, Serbakov vẫn còn nhớ một số bức vẽ của ông với đầy đủ mọi chi tiết; anh cũng nhớ đã có lần Malinin mời anh ghé thăm xưởng vẽ của ông, nhưng Serbakov đã ngại không tới, thành thử sống kề bên một họa sĩ như thế, có lẽ là một bậc kinh điển, vậy mà anh đã không nhận ra. Một phụ nữ ở Bộ Văn hóa đang phát biểu. Chị ta nói không cần giấy, giọng thắm thía về một cuộc đời hết lòng phụng sự nghệ thuật, và lần đầu tiên Serbakov thoáng thấy buồn. Nhưng đến câu “tài năng của ông còn có thể đem lại cho mọi người biết bao nhiêu tuyệt tác nữa” thì giọng chị ta nghẹn lại, và lúc ấy Serbakov mới sực nhớ ra là cái giọng nghẹn ngào cùng với câu nói ấy anh đã được nghe chị ta nói hôm lễ tang ông đạo diễn nhà hát của họ.

Anh ngoảnh lại nhìn. Đứng cách anh không xa là Andrianov và Phalêev, họ đang bàn cãi xem sẽ đưa ai vào hội đồng nghệ thuật thay cho người quá cố. Họa tranh luận khe khẽ, mặt vẫn giữ nguyên vẻ đau buồn. Trên những khuôn mặt khác cũng thể hiện vẻ đau buồn như thế. Những vẻ mặt giống nhau khiến Serbakov chú ý, điều bí ẩn ở đây, anh nghĩ, rõ ràng là tình cảm ấy không chân thật, bởi những tình cảm chân thành không giống hệt nhau và ở mỗi người phải thể hiện theo cách riêng.

Dàn nhạc bắt đầu cử hành. Khúc nhạc tang cất lên trên cỗ quan tài, trên những vòng hoa viếng, những cái gối nhỏ và gian phòng lần đầu tiên phảng phất hơi hương bí ẩn của cái chết, một câu đố muôn đời.

Số người được theo ra nghĩa trang rất ít. Chỉ hai xe buýt là đủ, số còn lại phải để ra về. Xe chạy lâu. Dừng lại hồi lâu ở chỗ đường chắn dẫn vào nghĩa trang. Mưa chuyển thành tuyết. Những bông tuyết lớn tan ra trong những vũng nước vàng ệch. Trên xe người ta nói về bệnh tật, bàn tán vì sao Malinin những năm gần đây không triển lãm tranh; một số cho rằng ông bị khủng hoảng, số khác cho là ông bị ốm. Serbakov giận mình nhu nhược. Khi người ta khiêng quan tài ra khỏi phòng, số đông người dự bỗng biến đi

đâu mất cả, không hiểu nổi làm sao mà mới đây mà biến mất đi được ngần ấy con người. Những kẻ chậm chân nghiêng người lách ngang qua chỗ chỉ trưởng phòng quản trị Nina Gurgenovna đang lớn tiếng mời mọi người lên xe. Nhìn khắp lượt những người ngồi trên xe, chị ta phàn nàn với Andrianov: toàn ông già cả, lấy ai khiêng quan tài được bây giờ? Andrianov lắc đầu:

- Vô liêm sỉ, vô lương tâm.

Anh ta mặc chiếc măng tô bằng da màu nâu mới tinh, bóng loáng, và cả người anh ta, cao to, vai rộng, ngồi ngời ngời sức khỏe và vẻ niềm nở.

- Serbakov đây kìa, anh ấy sẽ đi. Đúng không?

- Khởi cần bàn – Serbakov nói và chui vào xe.

Ngồi trong xe, anh thấy Andrianov giương ô, bấm nút, cái tán ô đen mở tung ra. Andrianov che ô đưa Nina Gurgenovna lên xe đằng trước, còn anh ta thì lại đi đâu không rõ, dáng thoăn thoắt. Serbakov tự rửa mình, nhưng từ chối Andrianov thì anh không thể. Từ thời sinh viên anh đã thừa nhận vai trò số một của Andrianov và đã quen phục tùng anh ta rồi. Andrianov từng là niềm tự hào của cả khóa học. Và lại, thành công của anh ta cũng không liên quan trực tiếp tới tài năng của anh ta. Đúng hơn, anh ta thành đạt là nhờ cái tính cách có số hên của mình, nói chính xác hơn là nhờ bản tính của mình, bởi khó mà xác định được tính cách của Andrianov, song anh ta có những phẩm chất lôi cuốn mọi người – vui vẻ, với ai cũng niềm nở như nhau, sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời lại kiên định, tự tin, anh biết cách xử sự với lãnh đạo đúng cốt cách của một người có tài, và lãnh đạo rất vị nể anh ta.

Đất ở nghĩa trang nhão nhoét. Cổ áo quan nặng trĩu. Serbakov khiêng và nhìn xuống dưới chân, chỉ lo trượt.

Phía sau những chấn song sắt hàng rào nghĩa trang ngổn ngang cảnh công trường. Ở đó, trong làn khói xanh, những xe chở pa-nen gầm gừ. Những khối nhà ở dài đang lên tầng ba. Chiếc cần cầu đang chậm chậm thả những tấm tường vuông trở sẵn cửa sổ xuống. Khoảng trời xám xịt trôi vùn vụt sau mặt kính đầy bụi. Tấm pa-nen đã được đặt vào vị trí, và Serbakov chợt nghĩ rằng từ nay, từ ô cửa sổ đó nhìn ra bao giờ cũng thấy khu nghĩa trang, những đám tang, những cây thập tự và mộ chí. Chuyện đó đâu có gì là dở, anh nghĩ, việc gì người ta cứ phải đẩy các nghĩa trang ra mãi tận ngoại ô, việc gì mà người ta cứ phải tránh né nó. Phải như anh thì anh sẽ giữ lại những nghĩa trang nhỏ ở ngay giữa thành phố. Để nhớ đến cái kiếp phù du của đời người. Để người ta chôn cất ngay trước mặt mọi người, để đưa lũ học trò đến đây cho chúng suy tưởng; như Puskin đã nói – để cuộc đời trẻ trung đùa chơi bên cửa mộ. Cái chết phải được tận dụng để làm cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn. Những ý nghĩ ấy khiến Serbakov thích thú. Một ngày kia, khi anh không còn phải làm việc ở nhà hát và không còn bị ràng buộc bởi các thứ đơn đặt hàng nữa, anh sẽ vẽ một bộ tranh thuốc nước về các loại nghĩa trang, những nấm mộ. Những tấm bia mộ – cái để bỏ hoang phế, cái thì được chăm chút, trang trí cầu kỳ, hòm hĩnh... Tôi ca ngợi không phải là cái chết, mà là cuộc sống, anh sẽ nói như thế nếu người ta buộc tội... Bận theo đuổi những suy nghĩ của mình, anh không nhận thấy đang có một tình trạng bất ổn. Nina Gurgenovna không tìm được ai để nói vài lời kết thúc lễ tang. Vì mưa quá nên số người đưa tiễn vắng hẳn, một số thì lẩn vào xe ngồi. Serbakov chợt tỉnh khi Gurgenovna nắm tay anh thì thào năn nỉ. Anh hoàn toàn không định phát biểu mà thực tình thì đi đưa đám cũng chỉ là tình cờ, anh được nhà hát cử đi đặt mua vòng hoa viếng. Anh muốn giải thích tất cả những chuyện đó cho Nina Gurgenovna nghe, nhưng đúng lúc ấy có một ông to béo, đứng tuổi đeo máy ảnh trước bụng chen vào giữa họ và xin Nina Gurgenovna cho ông ta được phát biểu. Đôi mắt kính dày cộp của ông ta trượt xuống chòm mũi đầy mồ hôi, cái nhìn của ông xúc động và cầu khẩn đến nỗi Nina Gurgenovna thốt nhiên chột dạ. “Treluiquin à?”. Chị ta hỏi lại. Cái họ ấy không nói lên điều gì với chị cả, và Nina Gurgenovna dứt khoát từ chối – đã muộn rồi, bây giờ, để kết thúc,

Serbakov sẽ nói mấy lời thay mặt cho lớp trẻ, cho đám học trò, và chị tức thì giới thiệu anh.

Serbakov sợ hãi, và lạ thay, lúc ấy anh không hề cảm thấy bí mà ngược lại, dường như những ý nghĩ trong anh trào lên muốn bật thành lời về Malinin, con người mà anh biết quá ít, mặc dù lẽ ra anh đã có thể biết rõ hơn nhưng đã bỏ lỡ dịp, rằng ngoài Malinin với những bức tranh ông để lại còn có một con người tên là Malinin và giờ đây người vừa mất đi chính là con người đó, con người mà ta không thể qui giản vào những bức tranh. Lúc này đây, khi mà ông không còn nữa thì mới vỡ ra rằng người ta chẳng biết gì về con người ấy, không ai biết gì về ông ấy...

Do đâu mà anh nghĩ như thế với một niềm tin vững chắc, điều xưa nay chưa từng có ở anh.

Vả lại, người ta cũng chẳng ai nghe anh nói. Họ đứng co ro dưới những cái ô, buồn bã đối hết chân nọ sang chân kia. Họ nhìn anh thờ ơ, nhìn mà không thấy. Những người đào huyết đã chuẩn bị xong dây thừng Và, bỗng dưng, giữa làn mưa bụi lạnh lẽo đó, Serbakov cảm thấy có người đang chăm chú nhìn anh. Anh không tìm ra ngay cái tia lửa ấy trong cặp mắt đỏ ngầu như thế đã lừa. Kia, sau cặp mắt kính, một cái gì đó cháy lên đón bắt từng lời anh nói với một sự khoái trá đau đớn. Và Serbakov chỉ còn nói cho người đàn ông to béo ấy nghe – tên ông ta là gì ấy nhỉ – Treluiukin – ông ta đứng kia, bỏ mũ bê-rê, và tuyết cùng mưa cứ thế rơi trên mái đầu hói của ông ta.

Người ta bắt đầu đóng nắp quan tài, mọi người nhộn nhạo và bỗng nhiên lúc đó, cái ông Treluiukin kia bật khóc. Thậm chí tiếng nước nở của ông nghe như tiếng chim kêu lạnh lốt. Ông đã cố nén lại nhưng không được. Tiếng kêu tuyệt vọng ấy thật không đúng lúc... Mấy bà già bèn sụt sịt, hỉ mũi, họ khóc khe khẽ một cách phải phép, đúng hơn là khóc cho cái chết đã gần kề của chính mình. Người ta lau mắt, lau má, nhưng cũng có thể là vì mắt, má ướt đầm nước mưa. Treluiukin chộp lấy máy ảnh và giơ lên bấm lia lịa. Những giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má nhọn nhọt của ông. Và nỗi đau

ghê gớm trong những giọt nước mắt mà ông ta không sao che giấu được khiến Serbakov cúi đầu, thấy ngượng thay cho Treliukin, cho cả đám người bối rối cóng rét kia, cho cả sự vội vã của những kẻ đang đắp mộ.

Rời nghĩa trang, người ta quay về dự bữa tiệc tang. Serbakov lạnh run, lên xe cùng mọi người, ước được làm một ngum vôt-ka.

Bàn ăn dọn trong xưởng vẽ của Malinin. Xưởng rộng và trống hoang – trần đầy những vết ố dột, bong tróc nham nhở nhưng nó vẫn làm cho Serbakov thán phục vì sự rộng rãi của nó, vì những ngăn gác lửng có cầu thang lên bằng gỗ sồi. Cách bài trí có sự cân nhắc kỹ lưỡng kết hợp với độ bền chắc, với tính quy mô – cứ nhìn những ngăn giá để màu vẽ, những tay nắm bằng đồng, những khung kéo của giá vẽ, những bậc thang bít đồng là đủ rõ.

Quanh bàn ăn xăng xái qua lại là hai bà em họ của Malinin. Người vào ra, tụ tập rửa tay bên cái bồn rửa lớn bằng sành men xanh. Andrianov, Phalêev với Alla cùng với cái bà trên Bộ xuất hiện. Khi mọi người đã yên vị, ngồi xuống bên cạnh Serbakov là Treliukin. Cốc đầu tiên, theo tục lệ, mọi người uống mà không chạm cốc để tưởng nhớ người đã khuất. Serbakov lập tức uống luôn thêm một cốc nữa rồi bắt đầu ăn. Người ta dọn lên món khoai tây nóng, thịt luộc, cháo gạo nấu với nho. Sao lại có cháo ở đây, Serbakov không hiểu. Món cháo cúng đấy, Treliukin nhắc anh. Ông ta tiếp nhận mọi thứ với vẻ nghiêm trang sùng kính. Bàn ăn nghi ngút khói, lấp lóa ánh thủy tinh, màu rau xanh, những trái cà chua rửa sạch, bóng mọng. Màu sắc tươi tắn của bàn tiệc không sao hoà hợp được với những khung cửa sổ mờ đục lâu ngày không được lau rửa cùng với mùi ẩm mốc của một căn nhà rõ ràng là đã bỏ hoang lâu ngày. Điều đó đập ngay vào mắt mọi người. Và đến đây mới vỡ lẽ là suốt những năm qua không một ai trong số những người đang có mặt lui tới cái xưởng vẽ này. Điều này thật khó hiểu, bởi trước đây người ta đến thăm nó thường xuyên. Mọi người ngồi mãi đến khuya, hát hò, ăn uống, hỏi nhau xem ai đang vẽ gì. Người ta bị thu hút đến với Malinin, ông giúp đỡ, gợi ý, ông giữ nhiều cương vị mà trước

đó ông đã phải từ chối đây đây mãi, khổ sở để rồi lại vẫn lãnh đạo, vẫn tham gia... Ông yêu thích hoạt động xã hội của mình, nó có vẻ phù phiếm, rỗng tuếch, nhưng là cái không thể thiếu đối với bản tính nhiệt huyết của ông. Trong cái xưởng vẽ này. Ông làm mọi việc một cách chóng vánh, dễ dàng bao giờ cũng kịp có tranh tham dự triển lãm. Ông đã vẽ hàng trăm bức tranh, hàng ngàn bức phác thảo... Nhưng không hiểu sao mọi cái bỗng bật đi. Từ một lúc nào đó, Malinin đã thôi không tham gia triển lãm nữa. Người ta không hề thấy tác phẩm mới của ông, không nghe ai nói gì về chúng cả. Ông đã từ chối cuộc triển lãm cá nhân của mình ở Manegio. Sự từ chối của ông đã làm chấn động dư luận. Người ta đồn rằng ông đang xem xét lại, đang tìm kiếm một cái gì đó, mà cũng có thể là ông đang vướng mắc chuyện gì đó. Dần dà ông ngày càng ít xuất hiện ở Hội Mỹ thuật hơn, ông biến đi đâu không rõ. Ông không nhận điện thoại, không trả lời thư từ. Vô hình chung ông bị lãng quên, ông đã mất tăm.

Trong nghệ thuật, kẻ nào không làm cho người ta nhớ đến mình thì chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa. Người ta vẫn cho rằng có một Malinin, ông vẫn ở đâu đó, nhưng dường như không phải là một con người hiện hữu, mà như một hồi ức ngày một nhạt nhòa... Serbakov hỏi hết người này đến người khác để rồi mới biết hóa ra trong những năm gần đây, không ai thấy bóng dáng Malinin đâu, chẳng ai biết gì về ông hết. Mọi người đều có vẻ ngỡ ngàng. Đúng lúc ấy, bất giác nhìn sang Treliukin, Serbakov rất đổi kinh ngạc trước cái tư thế căng cứng của ông ta: Treliukin rụt cổ, mặt đỏ ra, như thể đang nấp trốn.

- Thế bác có thường gặp Malinin không? – Serbakov hỏi.

Treliukin giật bản mình, nhìn anh hồi lâu, do dự và không đáp lại.

- Với họa sĩ lớn, tĩnh lặng, tạm dừng, là điều cần thiết - Phalêev cất lời. - Hãy cứ xem Gôganh, Alecsandr Benoa, Bôttichelli đấy, mà đâu có ít. Cần tích lũy. Im lặng – đó là tẩy rửa, thanh lọc. Malinin đã ấp ủ (thai nghén) bước đột phá mới.

Lời anh ta vang lên uy nghiêm, có sức trấn an và mọi người thấy đều đồng tình với anh ta, hài lòng vì đã có thể chuyển sang những đề tài khác, và câu chuyện trở nên tản mát.

Chỉ riêng Serbakov là tức sôi lên. Câu nói chen ngang của Phalêev đã làm hỏng hết cả. Một gã ba hoa lắm lời đầy tự tin, thêm nữa lại biết cách gây áp lực với mọi người bằng một giọng quyết đoán, bằng những lời bóng gió nhiều ngụ ý, dường như muốn nói rằng đằng sau lời lẽ của anh ta còn ẩn chứa điều gì khác nữa, những suy đoán của ai đó, mà có thể là cả những sự kiện nào đó nữa. Serbakov nghiêng đầu sang phía Treluiukin. Ông ta khẽ hỏi:

- Ai vậy?
- Giáo sư Phalêev.
- Tôi có nghe nói đến.
- Bác nghe nói sao?
- Một nhà nghiên cứu nghệ thuật có tiếng.

Phalêev ngồi chênh chếch trước mặt họ và đang ăn món cá hồi. Đôi môi ướm nhậy của anh ta cũng đỏ sậm hết màu thịt cá hồi và điều đó khiến Serbakov thấy khó coi. Trên cặp môi là một bộ ria đen trũi xuống đang động đậy. Phalêev mới để ria cách đây không lâu cho giống một tay Ka-dắc, bởi có một dạo anh ta rất hay nhắc đến nguồn gốc dân Ka-dắc của mình.

Serbakov không tin lời anh ta nói, có lẽ là vì Malinin không thể chịu nổi Phalêev và chắc không đời nào thổ lộ với anh ta... “Thanh lọc”, “tẩy rửa” – cả những tiếng ấy, cả cái cách mà Phalêev phát âm những từ ấy giờ đây khiến Serbakov thấy khó chịu, và vì Serbakov không thể để lộ ra cho Phalêev thấy thái độ đó, bởi cũng như những người khác, anh sợ y, nên anh càng sôi tiết hơn.

Chính Malinin, dù chẳng ưa gì Phalêev, cũng tránh va chạm với y. Trong các bài viết của Phalêev, ngay cả những bài tâng bốc, những cấu trúc được dồn nén trong những bức tranh mà y phát hiện, từ sự phán xét của y khiến chúng chết ngóm. Malinin thường gọi y là “nhà nghiên sát nghệ thuật”. Và việc Phalêev giờ lại có mặt ở đây và hết lời tán dương Malinin, nói về ông bằng giọng ông chủ, Serbakov cảm nhận được tất cả những điều này.

- Thế còn bác, bác nghĩ sao? Về sự im lặng của Malinin ấy? – Serbakov hỏi Treliukin.

- Sao lại là im lặng? – Tseliukin nhún vai, thở dài, sau đó nói – Thế nếu như không có sự im lặng nào hết thì sao? Có thể sẽ là một cái gì đó khác... Khủng hoảng.

Serbakov bật cười.

Nếu vì khủng hoảng thì người ta không vứt bỏ bút vẽ, vì khủng hoảng người ta thường trở thành lãnh đạo, thành phó chủ tịch Viện hàn lâm, thành hiệu trưởng đại học... Mà thiếu gì chỗ để leo lên cơ chứ...

Anh bỏ vào miệng một lát khoai tây nóng và nhồm nhoàm nói:

- Làm sao lại có thể khủng hoảng với một cái xưởng vẽ như thế này. Một cái giá vẽ trong hõm tường – đó là một thứ đồ chơi. Viên nẹp này, khung chạm trổ này. Xin mời anh cứ làm việc đi – tôi chả thiết.

Serbakov cảm thấy cuộc đời của Malinin đầy bí ẩn hấp dẫn. Thực ra khi con người ta còn sống thì cuộc đời người đó thật rõ ràng, nhưng khi người ấy chết thì những bí mật lại xuất hiện. Kỳ lạ thật. Sao cái chết lại làm thay đổi hình ảnh con người đến mức ấy nhỉ. Mọi thứ không sáng tỏ ra mà ngược lại, mất hẳn những đường nét rõ ràng, thực chất của con người biến mất.

Giữa lúc ấy, Andrianov nâng cốc ca ngợi sự ngăn ngùi của đời người và bước chuyển của nó sang một dạng tồn tại khác. Vẻ mặt anh ta nghiêm trang, nhưng hàm răng tuyệt đẹp của anh ta sáng bóng lên, dáng đứng cao ngạo, nước da rám nâu, tưởng như nói về cái chết, với anh, chẳng có gì là đáng sợ, thậm chí còn là điều thích thú...

Đáp lại lời mời cạn cốc vì những họa sĩ chân chính, không chịu quy phục thời gian, những cái ly được nhất loạt nâng lên, và Serbakov bỗng cảm thấy dễ chịu vì mình cũng có phần dính líu đến sự bất tử ấy. Nhận thấy Andrianov đang mỉm cười quay về phía mình, anh chợt nghĩ – có nên hỏi anh ta về xưởng vẽ không nhỉ? Về cái xưởng vẽ này chẳng hạn? Nhưng rồi anh thở dài, hiểu rằng mình chưa đáng mặt. Anh cảm thấy ngán ngẫm, và Alla nháy mắt với anh qua bàn, cho rằng nguyên do là tại Tseliukin; ở đâu ra cái ông mặt mày sần thảm ngồi cạnh anh vậy? Tseliukin chau mày, chẳng ăn uống gì, mắt nhìn cau có, ông là người duy nhất mặc đồ đen, thắt cà vạt đen. Vẻ mặt ông xa lạ với những câu chuyện tạo nên hứng thú chung cho tất cả những người ngồi đây. Loáng thoáng nghe thấy những cái tên to tát, người ta bày tỏ ý kiến về những tên tuổi lẫy lừng khác, bàn tán những tin tức, dự đoán, giả định này nọ. Về những cuộc cầu cử tới đây vào tiểu ban sắp thành lập, những người được đề nghị nhận giải thưởng, về những suất đi công tác nước ngoài...

Sự im lặng nặng nề của Tseliukin khiến Serbakov thấy khó nói, mà nghe cũng không rõ.

- Sao bác không uống gì cả thế? – Serbakov hỏi.
- Ngượng quá. – Tseliukin nói.
- Gì cơ?
- Đám tang gì mà lại ra thế này? Mitia thì có dính dáng gì đến đây chứ?
- Thế bác biết ông ấy lâu chưa?

- Từ hồi sinh viên. Ở cùng một phòng.

- Thế thì bác kể cho nghe đi. Tôi giới thiệu bác ngay đây.

Serbakov vớ lấy con dao ăn định gõ vào đĩa, nhưng Trelukin hốt hoảng giữ tay anh lại.

- Thôi đừng. Làm phiền họ làm gì!

Serbakov chực cãi lại, anh muốn Trelukin nói, nhưng Phalêev đã cướp lời, bắt đầu nói về tuổi trẻ của Malinin, về chuyện những tác phẩm viên mãn nhất của ông đều là vào những năm 30 – những tìm tòi về hình thức, thể nghiệm, chủ nghĩa hiện đại, - ấy thế mà người ta đã không để cho ông phát triển lên, người ta la ó, nhảy xổ vào mà công kích, cấm đoán, buộc ông phải bỏ đi tìm những con đường khác...

- Và tất cả những cái đó đã phải trả một giá đắt! Giá như được tự do phát triển, tự mình vượt qua những cái rườm rà, non nớt của mình... - Phalêev nói, không nhìn ai, nhưng mắt vẫn theo dõi để mọi người lắng nghe anh ta. - Tôi cho rằng, - anh ta ngừng lại một chút, những cuộc tranh cãi với người khác sẽ sinh ra tài hùng biện, những cuộc tranh cãi với chính mình sẽ sinh ra thi ca!

- Chính thế! – Aleska kêu lên – Tuyệt vời!

- Thì chính anh đã đả ông ấy, - Bỗng Trelukin buột thốt lên bằng một giọng rín rít, mắt nhìn xuống cái đĩa của mình. – Anh đã chả từng viết ...

- Tôi ư? Khi nào vậy? - Phalêev ngạc nhiên.

Mọi người xung quanh đều chột dạ.

- Anh buộc tội ông ấy đã sa vào những tìm tòi vô bổ về hình thức vào thời trẻ – Mặt Trelukin đỏ bừng lên từng mảng, đầu ngẩng cao và vẫn tiếp

tục nói bằng cái giọng răn dạy nhưc nhối. Anh đã lấy ông ấy làm dẫn chứng khi nói về những điều cần tránh. Đại loại là ông ấy đã vượt qua được những lầm lạc tai hại thế nào, thoát khỏi bãi lầy thế nào. Thế mà bây giờ thì lại nói anh thứ lỗi, lật ngược hẳn lại. Giờ thì lại tán dương.

Phalêev sừng sốt thực sự. Chưa bao giờ có ai dám nói với anh ta như thế. Thậm chí miệng anh ta vẫn há ra. Ai nấy đều nhìn Treliukin như thế lần đầu thấy ông. Chỉ mình Serbakov thấy khoái trá.

- Ông từ đâu chui vào đây vậy, mà ông có hiểu...

Phalêev bắt đầu lên giọng, nhưng rồi đã kịp nghĩ ra, phá lên cười một cách độ lượng, tha thứ cho ông già đáng thương kia vì đã đem lại một trò vui. – Ông bạn đáng yêu của tôi ơi, biết làm thế nào khác được. Chỉ có những kẻ giáo điều mới nhai đi nhai lại những cái người ta đã khẳng định từ hai chục năm về trước thôi. Tôi không phải là một tên giáo điều. Tôi, thưa ông bạn thân mến, đã kịp nhìn nhận lại trước tất cả mọi người, trước cả Malinin cơ. Và trước đó, những phát biểu của tôi đã chặn đỡ cho ông ta, bảo vệ ông ta, nếu không thì người ta đã bỏ ông ta vào cái cối xay thịt rồi. Mà không thế thì đời nào họ lại chịu tha cho ông ta chứ!...

Treliukin đứng phắt dậy, trên cái bụng ưỡn ra của ông ta lung lẳng cái máy ảnh.

- Hèn hạ! – Mặt ông càng đỏ hơn, - Và dối trá!

Ông bước ra khỏi chỗ ngồi. Cổ ông loáng mồ hôi. Mãi khi ra đến chỗ cửa lớn, ông chợt quay ngoắt lại bằng một động tác nhanh nhẹn lạ lùng so với thân hình to béo của ông, hướng nhanh ống kính về phía Phalêev, bấm máy, sập cái khóa xuống như thế bắn một phát súng vậy, và biến mất.

Im lặng bàng hoàng một lúc.

- Hâm, - Phalêev xác định một cách rành rọt. – Lão này ở đâu ra vậy? – Câu hỏi nghiêm khắc ấy nhằm vào Serbakov.

- Tôi cũng không rõ. Hình như từ xa đến.

- Mặt trông dần dần. Một lão chập mạch điển hình. Một kẻ ngoại cuộc. – Phalêev vẫn tiếp tục.

Serbakov cảm thấy môi mình mỉm cười. Nụ cười thoáng nhẹ không chủ định, Nó không tắt đi, cũng không cách gì dập tắt được. Mọi người quanh bàn, cả cái bàn, cả cốc đĩa trông cứ dẹt phẳng ra như thể được dán trên mặt giấy vậy. Bộ ria ướt nhẹ của Phalêev, cặp mắt mèo vàng khè của anh ta, tất cả đều có thể đem cuộn lại được. Chỉ còn lại những bức tường, ánh chiều xế bóng rọi xuống từ những ô cửa sổ cao...

- Tiện đây xin nói thêm rằng đó là người duy nhất đã khóc ngoài nghĩa trang, - Serbakov nói. - Mặc dù các vị không trông thấy. Các vị không có mặt ở đó. Các vị chỉ tới đây thôi.

Nghe thô lỗ quá, và anh hơi hoảng. Nhưng không để lộ ra. Với những kẻ như Phalêev thì chỉ có thể hạ gục bằng một đòn thẳng tay...

Serbakov bỏ ra ngoài, hơi chệnh choạng, cố bước đi sao cho thật thẳng đường. Cái hành lang dài hun hút dẫn anh đi sâu vào nơi ở của Malinin. Những cái rương lớn, những chiếc xe đạp treo trên tường, những hốc tường... Anh đẩy một cánh cửa gỗ kín mờ, lọt vào một căn phòng hình bán nguyệt. Ở đó có ô cửa sổ hình bán nguyệt, trần van vát đầy những vết ố sẫm, tường dàn kín giá sách. Giữa phòng kê một cái bàn ô-van gỗ bạch dương vùng Kareli, cạnh bàn là một cái ghế bành lưng cao bọc nhung màu huyết dụ. Ánh sáng vàng khè của ngọn đèn trần trụ càng làm cho mọi vật mờ đục, bụi bặm hơn.

Trên mặt sàn, ngay chân cửa sổ dựng ba bức sơn dầu cỡ nhỏ. Phía trước ba bức tranh đó, Trelukin đang bò lổm ngổm.

- Ra là bác ở đây. – Serbakov nói.

Treliukin không đáp. Phủi hai tay vào nhau, ông cứ bò từ bức tranh này sang bức tranh kia, thở phì phì, khịt khịt mũi một cách xúc động hết như con chó pu-đen lông dài và quăn.

Chân dung một cô gái, chân dung một bà già, nội thất một căn nhà nghỉ - cả ba bức đều đẹp, nhẹ nhõm, nét vẽ góc cạnh nhìn hơi trẻ con, đó là đặc điểm dễ nhận ra ở tranh của Malinin. Serbakov biết rất rõ cái bút pháp đầy sức quyến rũ ấy, cái bút pháp mà một thời gian dài anh đã bắt chước và phải khó khăn lắm mới tự giải thoát được.

Treliukin bò lùi lại, chỉnh máy ảnh và chụp các bức tranh lấy mấy kiểu.

- Tội thân gì mà bác chịu lấm lem như vậy? - Serbakov nói. - Không có bác thì rồi mọi thứ đều sẽ được chụp ảnh quay phim cả mà. Phalêev sẽ lo liệu tất. Sẽ làm album, rồi cả chuyên khảo nữa ấy chứ. Và còn đặt cả tên phố nữa kìa.

Ánh đèn chớp soi nhoáng các góc nhà phía xa. Những dấu chân in rõ trên mặt sàn đầy bụi. Serbakov đăm đăm: Sheliukin thậm chí chẳng buồn nhìn anh.

- Mà bác phát hiện ra được cái gì ở những bức tranh ấy vậy? – Serbakov hỏi với giọng cay độc. – Loại ấy thì Malinin làm hàng lô.

Chỉ vì Treliukin mà Serbakov đã bỏ cả bữa tiệc tang, sừng cồ mắng Phalêev, thế mà cái ông Tseliukin này chẳng buồn mở miệng nói lấy một tiếng.

- Phố Petrov Vokin không, phố Lentulov cũng không, ấy thế mà sẽ có phố Malinin đấy. Ông ấy rất xứng đáng liệt vào hàng kinh điển.

Treliukin thở nghi ngóp, đứng lên, phủi hai gói quần, nói cộc lốc:

- Anh khỏi nói...Malinin là một con người vĩ đại!

- Xin bác đi! Ông ta vĩ đại ở chỗ nào? Người đâu mà kỳ quặc! Nếu đã là một họa sĩ thì, ơn Chúa, chúng ta có chuẩn đo. Vĩ đại, đó là Vruben. Vĩ đại, đó là Picatso. – Serbakov cười ý nhị. – Thế nên chúng ta đừng thêm vào đó làm gì. Ông ấy là một cây cọ có tài...

- Anh là ai, họa sĩ à? – Sheliukin hỏi.

- Vâng. Thì sao ạ? – Serbakov đã bắt đầu khiêu khích. – Tôi thì đúng là rất khách quan. Thế bác là gì, thợ chụp ảnh à?

- Không. Cũng là họa sĩ. Trước đây. Từng là một kẻ bất tài. – Treluiukin điềm đạm nói và ngồi xuống ghế bành – Từng là hiệu trưởng một trường mỹ thuật. – Ông ngẫm nghĩ. – Tôi có một công lao đối với nghệ thuật: đó là tôi đã không làm họa sĩ. Tôi toàn vẽ nhãn hộp kẹo.

- Thế bác chụp ảnh làm gì?

- Tất cả đang biến mất. Thật đáng sợ.

- Cái gì biến mất?

- Bỗng dưng bắt đầu biến đi. Bạn bè cùng lứa... Bánh mì tinh bột... Lũ ngựa...

Ông gọi tên những thứ mà Serbakov chưa bao giờ được nghe nói đến, những bóng dáng mờ nhạt thời thơ ấu: những bà bán sữa đeo bi-đông, những cái bánh mì sừng bò, những người đánh xe ngựa thồ hàng, những anh thợ nạo ống khói... những khoa bố túc công nhân... một cuộc sống không còn lưu lại được gì cả - những cửa hiệu đồ cũ giăng đầy những bức vẽ cũ kỹ, những tranh khắc gỗ, chợ trời, nơi có thể đem tổng ra đây những bức vẽ bôi bác của mình, cái nơi chợ trời mua bán trao tay ồn ã, bất ngờ, với những cửa quý tình cờ vớ được, những tập album dày cộp, những khung

tranh, mà trời đất ơi, những cái khung vớ được ở đó mới độc làm sao chứ, chốn ấy có cả keo dầu lanh, bút vẽ bằng lông chồn nâu cơ đấy...

Khuôn mặt ông bỗng trẻ hẳn ra. Đó là thế giới của ông, cái thế giới sẽ không còn được thấy lại nữa, ông chụp nó, muốn lưu lại dấu vết, những vật chứng còn sót lại.

- Thậm chí người ta không đúc lại khuôn mặt của Mitia. Đến một lúc nào đó họ sẽ hiểu thôi. Ít ra thì tôi cũng còn kịp bấm máy. Có lẽ vì lý do mà tôi vẫn còn được số phận níu kéo ở lại cõi đời này.

Treliukin bắt gặp nụ cười gượng gạo của Serbakov. Ông không hề lúng túng, gật đầu dường như chỉ chờ có thế.

- Anh đã bao giờ được trực tiếp quen biết một người vĩ đại chưa?

- Chưa được hân hạnh, - Serbakov đáp.

- Hừm, thế do đâu mà anh biết là thế?

- Tôi không hiểu.

- Có thể là ông ta đã từng ở ngay cạnh anh. Hoặc vẫn đang sống. Chiều chiều anh và ông ta vẫn chơi bài với nhau. Có thể ông ta còn hỏi vay tiền nữa? Há? Thế rồi, sau khi ông ta chết, anh mới chợt nhận ra rằng người bạn học thời phổ thông của anh là một con người vĩ đại, vậy mà anh đâu có ngờ. Có thể là như thế không?

- Đấy là bác đang muốn nói về Malinin?

- ...Còn các người thì lại lên giọng dạy khôn ông ta, cho ông ta là một gã ngốc, không biết đường sống. Không hiểu được hạnh phúc của mình. Lạy Chúa tôi, cứ làm như thế chính ta mới là người biết cách sống ấy!

Ông ta thở hổn hển, bệnh béo phì hành hạ ông. Mặt tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, ông không hề để ý đến mình, rõ ràng là không thấy quý những gì còn tồn tại của thân xác mình. Những đường nét trên khuôn mặt ông mờ nhòa đi, dáng hình ông chảy xệ ra, thật khó hình dung được thời còn trẻ trông ông thế nào, đi đứng ra sao, mọi cái đều bị che lấp và khi nhìn kỹ ông, không mấy may thấy cảm thông với những đoạn thẳng trầm trong cuộc đời của Trelukin mà như ngắm một mẫu vẽ, một phác thảo cho một bức tranh nào đó. Khi nhìn ngắm mọi người, Serbakov bao giờ cũng tìm xem có thể khai thác được gì ở người đó, - người này thì có hình dạng hay hay, người kia thì có cánh tay lực lưỡng, còn Trelukin thì như một đồng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ của cái gì nhỉ?

- ...Nhưng làm thế nào để nhận biết được một con người như thế. Vinh quang chỉ càng làm cho rối rắm thêm. Vinh quang thường đến với những kẻ láu cá. Bởi cũng có sự vĩ đại mà không vinh quang chứ? – Trelukin hỏi, đưa mắt liếc Serbakov, - Ở chỗ sâu nước đâu có xoáy, đúng không? Tôi đã cạo cho ông ta một mẻ, cố giúp ông ấy quay về con đường đúng đắn. Tôi chẳng hiểu ông ấy còn thiếu thứ gì nữa cơ chứ? Sao lại có thể đập đổ tất cả những gì đã chiếm lĩnh được, đã đạt đến được bằng bao nhiêu công sức như thế! Anh có biết ông ta đã trả lời tôi thế nào không?

- Bảo sao? – Serbakov hỏi thờ ơ.

- Thiếu chút nữa thì ông ấy cất giọng ngậm. - Shgeliukin bật dậy, ngậm nga, khàn khàn, giọng lạc hẳn đi, đầy tình cảm;

Nhưng bàn tay định mệnh đã từ lâu

*Viết lên đó những giòng khùng khiếp!...*⁹

Mắt ông sáng rực lên.

- Ông ấy ví von đấy! Ông ấy nói gì cũng đều có ý cả. Trong Kinh thánh, bàn tay định mệnh viết cho ai nào?

Serbakov nhún vai.

- Còn sao nữa, thử cố nhớ lại đi – cho Đức vua Bantaza! Còn Mitia thì cho rằng ông ta sống chẳng khác gì vua Bantaza, cứ mãi mê yến ẩm tiệc tùng cho đến khi đọc được những dòng chữ trên tường.

Serbakov không sao nhớ ra được một điều gì đại loại như vậy. Kinh thánh anh chưa từng đọc, mặc dù nhiều lần định bụng sẽ xem, tuy nhiên, với vẻ ranh mãnh của một người say, anh bắt đầu nhử Treliukin.

- Đó là Đức vua, còn đây là Malinin. Ông ấy không yến ẩm, ông ấy làm việc.

- Còn cái ký tự chính, ở giữa ấy, thì nghĩa là gì, hả? – Bước lại gần bức tường, Treliukin kiễng chân, ngón tay lần rờ theo và bằng giọng trang nghiêm, cất tiếng ngâm: *Người đã được đặt lên cân và thấy mình nhẹ bổng!*¹⁰

Nghe có vẻ khoa trương, thậm chí buồn cười, nhưng trong câu chuyện này lại có cái gì đó ghê rợn, hăm dọa.

- Thấy mình nhẹ bổng, - Serbakov nhắc lại, hất mạnh mái tóc một cái. – Thế thì sao? Vì sao ông ấy lại không làm việc nữa?

- Đâu có gì. Do đâu mà anh nghĩ thế?

- A hà! Tôi nghĩ thế. Nhưng bàn tay định mệnh thì có chứ? - Giọng Serbakov hào hứng. - Bác kể đi.

Treliukin nhếch mép cười khó hiểu, trong tay ông ta xuất hiện một cái cặp, một cái cặp căng phồng, loại thường được dùng để đi công tác, lôi ra từ đó một lọ năm, một cái chai nửa lít quẩn trong một cái khăn tắm dệt hình tổ ong, mấy cái cốc nhựa con, một cái thìa, thận trọng và nhanh nhẹn bày tất cả những thứ đó ra góc bàn chất đầy giấy má. Thứ vôt-ka, như Tseliukin

cho biết, là loại nặng đô, của Uran, không phải tang dành cho thực quản của dân thủ đô, nhưng theo lời ông, vong linh của Mitia bay lượn ở đây chứ không phải ở nơi cỗ bàn thịnh soạn kia.

- Bác tin thế à? – Serbakov hỏi.

Treliukin không đáp, nhìn anh đầy vẻ thương hại như cách người ta thường nhìn một kẻ tật nguyền.

Thứ vôt-ka như lửa đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Serbakov, làm anh ối lên một tiếng, tức khắc tỉnh rượu và cứ bám chặt lấy Tseliukin mong làm sáng tỏ được bí mật sự biến mất của Malinin. Nhưng Treliukin cứ trả lời loanh quanh, không sao moi ra được điều gì. Ông bảo bí mật đó không phải của ông và ông không có quyền, rằng hoàn toàn chẳng có bí mật nào cả, tất cả chỉ là một trò trẻ con, phải quan tâm đến con người, sau đó lại hỏi Serbakov cần biết cái bí mật ấy để làm gì, tốt hơn cả là đừng động đến nó... Cũng lúc đó, ánh mắt ông bỗng lóe lên sắc nhọn và một cảm giác khó chịu đã ngăn Serbakov lại.

Trên mặt bàn chỗ họ ngồi chõng chát cả một đống giấy tờ. Những tập album, phong bì, bằng khen, vé tàu xe, bưu thiếp... Serbakov thọc tay vào cái động trơn trượt ấy, rút ra hú họa một phiên bản tranh của Malinin, một tấm thẻ đỏ có dấu “Chủ tịch đoàn”. Rồi kể đó là một tấm danh thiếp, một mẫu báo cắt, tập danh mục tranh một cuộc triển lãm ở nước ngoài. Tất cả đều bị bôi tung, chắc là người ta muốn tìm ảnh chụp, tài liệu, huân chương để dùng cho lễ tang. Từ những cặp bìa để mở vương ra những bức điện có vạch đỏ, những tấm thiếp chúc mừng mang chữ ký của những nhân vật từng tiếng tăm một thời...

Serbakov cứ “hừm, hừm” trong miệng. Những lời chúc tụng nhảm cũ, ánh đèn hoa trang trí đã tắt ngóm, cờ xí lễ hội đã gỡ bỏ cả rồi. Sắc sắc không không, hư ảo cả.

- Ai cần đến những của này chứ? Bởi những thứ rác rến này ra làm gì nhỉ? – Anh nói. - Đồng chí A.N. Zubarev gửi lời chúc mừng. Thế bây giờ cái tay Zubarev ấy đâu rồi? Giờ thì còn ai nhớ đến cái tên này?

Cái đầu tròn láng bóng của Trelukin gật gật đồng tình, lát sau ông nói, không phải để cãi mà như tán thành:

- Đối với chúng tôi, dân tình lẻ, chỉ cần có một mảnh giấy thế này thôi thì úi cha cha! Nó lập tức tôn anh, bốc anh lên khỏi những cái thường ngày. Chuyện đùa à? Nguyên một cột trên tờ báo của Thủ đô! Lại kèm cả phiên bản nữa! Thế “thành viên chủ tịch đoàn” này – trông thì tưởng chỉ là cái mẽ ngoài, nhưng phải có sức mạnh đến thế nào mới khước từ được chứ đâu phải chuyện chơi. Thế mà Mitia đã coi khinh, chối bỏ tất.

- Vậy ông ấy đã chối bỏ cái gì mới được chứ?

- Chối bỏ tất.

- Tôi không biết, không biết...

- Chối bỏ cái trọng yếu nhất.

- Sao bác cứ úp úp mở mở mãi thế?

Trelukin ngửi cái cốc của mình.

- Thế anh cần biết điều đó để làm gì?

- Chính là lỗi ở bác. Vĩ đại, vĩ đại, nhưng lại không chứng minh được. Nếu đã vĩ đại thì sao còn phải giấu diếm. Dở dãn! – Serbakov phẩy tay, điệu bộ dứt khoát đến mức Trelukin chợt thấy lo ngại.

- Giả dụ như tôi nói với anh rằng Malinin đã đi trốn, bắt đầu làm việc với một cái tên khác thì anh sẽ không tin, đúng không?

- Trốn ai? Nghe vớ vẩn thế nào ấy. Bác đang nói nghiêm túc đấy chứ? Thế là thế nào?

- Chẳng thế nào cả, - Trelukin xác nhận một cách mau mắn. - Phi lý quá, tôi cũng cho là thế.

- Thế chuyện ấy xảy ra khi nào? Do đâu mà ông ấy phải làm thế?

- Sau ngày vợ chết. Anh biết Nadia chứ? - Ông ta bắt đầu kể chuyện người phụ nữ quá cố đã say mê Malinin thế nào, đã xây dựng vẽ ra sao.

Tất cả những tình tiết đó lúc ấy Serbakov cho là thừa, chỉ cản trở việc làm sáng tỏ vấn đề chính yếu – chối bỏ tên tuổi của mình, một tên tuổi vào tầm cỡ ấy để làm gì cơ chứ?

- Chính thế đấy, hoàn toàn chính xác, - Trelukin tán đồng và lại tiếp tục kể về chuyện đã đến chỗ ông ta, Malinin buồn nản, trầm tư thế nào.

- Ông ta bắt đầu dọn dẹp cái lều ngoài vườn của chúng tôi, dọn đồ ra đó ở.

Đang say, Trelukin vờn thảng người, cái chòm mũi của ông ta đảo lộng lên, ánh mắt trong ngời:

- Anh thử hình dung xem: một ông thợ đã đứng tuổi, chẳng ai biết tên, mặc một cái áo bông, vác tranh của mình đến, sao? Không ai lại nghĩ rằng đó là Malinin. Một chữ ký lạ hoắc. Mà tranh cũng hoàn toàn khác.

- Làm thế nào mà ông ấy lại giữ kín được đến thế? Đến độ không ai biết gì cả?

Trelukin phẩy nhẹ tay.

- Không, anh trả lời tôi ngay đi xem, bản thân anh có làm được như thế không đã? – và nhìn xoáy vào anh bằng cặp mắt nhỏ trong đó bùng lên một ánh lửa. - Anh thử xét lại mình rồi nói nghe xem nào.

- Nhưng sao tôi lại phải làm thế, để làm gì cơ chứ? – Serbakov bật kêu lên.

- Khà, có thể nói rất nhiều lý do. - Treluiukin dí một ngón tay vào ngực Serbakov. – Để sao cho không còn có chuyện biệt đãi ân ưu gì nữa. Được không? Để miễn trừ hết mọi lợi thế của tên tuổi và vinh quang. Hoặc, giả dụ, để thoát khỏi những khuôn mẫu sáo mòn của chính mình. Như anh đây chẳng hạn, anh đã định hình rồi, và anh phát ngấy, anh muốn khác đi kia, anh phải bứt ra, thoát ra khỏi bản thân mình.

- Thì cứ việc bứt ra, ai ngăn cấm ông, có điều là sao lại phải chối bỏ mình làm gì?

- Tôi cũng có hỏi ông ta như thế... Tôi bảo ông ấy: một người nghệ sĩ cần phải giữ nguyên là chính mình. Cứ phát triển theo hướng nào cũng được. Cứ lớn cao lên như thế một cái cây, nhưng gốc rễ thì vẫn là gốc rễ ấy. Thế nhưng nếu tôi lại không muốn làm một cái cây, ông ấy bảo thế, mà muốn làm cả một rừng cây, nếu vậy thì sao?

- Tôi không hiểu.

- Hôm nay là cây này, sau đó lại là một cây khác, nếu, ông ấy bảo, ở trong tôi có rất nhiều con người khác nhau có thể thể hiện được thì sao?

Cái ngón tay ấn càng mạnh hơn vào bụng. Serbakov lùi lại, câu chuyện này kéo dài quá, có một cái gì khó chịu, thậm chí nguy hiểm trong đó.

- Bác không quay trở lại đằng kia nữa à? – Serbakov hỏi.

Treluiukin nhìn anh, nhếch môi cười ra ý hiểu.

- À vâng, anh đi đi.

- Cái ngón tay ấn mạnh vào chỗ dưới ức vẫn còn để lại cảm giác ớn lạnh. Câu hỏi ác nghiệt của ông già béo tướng như lôi anh vào chỗ nước xoáy.

Mà thực tế, liệu anh, Serbakov, tác giả của một bản luận án tốt nghiệp được chú ý và ba vở diễn, liệu anh có gan ký một cái tên khác thay vì ký tên Serbakov không... Thật đúng là phát rùng mình nếu phải lấy một cái tên bất kỳ nào đó.

Treliukin, nhai nốt miếng nấm, hỏi:

- Anh không nhận ra điều gì trong những bức này sao?

- Việc gì tôi lại phải thay đổi chữ ký của mình? - Serbakov nói. – Không đâu, xin lỗi. Đi tìm bản thân mình, cái đó thì tôi hiểu. Nhưng phải là mình kia. Phải trung thành với bản thân mình.

- Anh nhìn kỹ mà xem này, - Treliukin nói tiếp, không nghe anh nói. Ánh sáng chiếu từ đâu và bóng đổ xuống đâu. Kỳ quái. Ông ấy đã tìm kiếm rất lâu...

Serbakov sốt ruột nhún vai.

- Tất cả những cái ấy thì rõ cả rồi. Tốt hơn là bác nói xem cái đó đem lại cho ông ta cái gì? Ông ta đổi họ tên đi - rồi sao nữa?

- Anh kiểm nghiệm lại tất cả mọi chuyện bằng cái gì đây? – Treliukin gật gật cái đầu trụ lụi của mình. – Bằng thành quả. Từ đó có thể rút ra được một điều gì đó. Cái ý tưởng cốt lõi nhất của cuộc sống hiện nay. Ấy vậy mà không được gì cả. – Ông cúi chào rất kịch, khoa tay lên. – Chỉ toàn những mất mát. Anh thấy chưa Ồ à?

- Nhưng để làm gì, vì lẽ gì chứ? – Bị kích động mỗi lúc một mạnh, Serbakov kêu lên.

- Đó là sự lừa bịp. Ông ấy muốn đánh lừa thiên hạ đó thôi. – Treliukin nói nhanh, khẽ, mắt ngược nhìn đâu đó phía trên cao. – Nếu như ông ấy không chết thì sẽ có hai nhà danh họa. Ông ấy chưa kịp đạt tới người thứ hai. Không thì cứ thử hình dung xem lúc ấy sẽ rắc rối thế nào. Hai nhà kinh

điễn. – Treluiukin cười hì hì. – Hai đường phố... Thực ra thì mọi sự đâu phải thế. Ông ấy đã mồi lên vì những thứ nhàm chán. Tài năng đã trở thành kỹ thuật rồi... Ông ấy đã phát ngấy chính mình. Mà có thể đó không phải là bế tắc đâu, mà là một đỉnh cao. Một khi đã đạt đến đỉnh cao rồi thì còn biết đi đâu nữa? Thế là ông ấy nhảy xuống. – Treluiukin đến gần Serbakov từ phía bên, nhìn vào mắt anh. – Nhưng cũng có thể ở đây có một cái hoàn toàn khác... Trước mắt ông ấy thấp thoáng những ý tưởng mới: về cái mà những kẻ khác không muốn nhìn thấy. Nó ra sao? Cái mà thực tế đang diễn ra trong lòng ta, bên dưới đôi má hồng của ta. Sao nào? Hoặc ở xung quanh ta. Toàn bộ cái mặt trái của cuộc đời, tất cả cái mớ hỗn tạp, tất cả những thứ tình cảm được che đậy. Kinh đấy chứ? Ông chùi tay, lại đi quanh Serbakov một vòng. – Quả thực là tôi cũng đã không tin. Tại sao một người vốn vẫn luôn ngợi ca cái đẹp và niềm vui sống lại phải lao tâm khổ trí đến thế? Ất là phải có một nguyên do hoàn toàn khác!

Nghe tất cả cái mớ rối mù ấy, đầu Serbakov quay cuồng.

- Bác lờ tôi những chuyện quái quỷ gì vậy? – Anh túm lấy cổ áo va-rơ của Treluiukin để ông ta khỏi lảng xãng làm anh hoa cả mắt. – Ngay từ đầu tôi chỉ cần biết: nguyên do nào thôi.

- Anh muốn khám phá bí mật chẳng qua chỉ vì tò mò thôi. Anh thì thiết quái gì đến Mitia!

- Bác có chịu nói không nào?

Serbakov bắt đầu lắc ông ta. Đầu Treluiukin gục gặc theo nhịp lắc, và một nụ cười giễu cợt cũng chao theo trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông. Người ông nhẹ bỗng, mềm nhũn.

- Biết nói sao được. Tôi không biết gì cả, - Treluiukin thú thật, giọng thều thào như kiệt sức. – Tôi đã để lỡ dịp.

- Lỡ cái gì?

- Hình như ông ấy muốn thổ lộ. Thế mà tôi đã gạt đi.
- Tại sao?
- Trelukin sửa lại kính, giọng nhẫn nhục như thể đang bị hỏi cung:
- Vội đi xếp hàng. Lúc ấy người ta bán xúc xích.
- Xúc xích thì dính dáng quái gì đến chuyện này?
- Tôi cóc thiết tha gì cái triết lý của ông ấy. Tôi đã cố tình chọc giận - đã chán chê các món ngon ở thủ đô của anh rồi thì cứ ném thử thứ nước ngựa uống chỗ chúng tôi đi.
- Thế ông ấy muốn nói chuyện gì?

Trelukin nhún vai.

- Thì nào tôi đã biết được gì đâu. Mà cũng chẳng buồn hỏi nữa. Ông ấy thay đổi khác hẳn từ cái hôm ấy. Trở nên rất bình thản. Trầm mặc. Trong khi ông ấy vật vã, tôi thấy thương quá, nghĩ bụng: vì phiền muộn mà ông ấy đã tìm đến chỗ chúng tôi. Thế mà khi thất ông ấy trở thành một người khác... Ông ấy, đã hai lần muốn tránh mặt tôi. Vì tôi thì là cái thá gì? Một con số không. Ông ấy đã tụt xuống vạch không và từ cái điểm không có gì ấy lại muốn bay lên.

Cơn nóng giận này giờ vẫn phảng phất trong lời nói, nhưng giọng ông nghe đều đều và buồn bã. Serbakov cảm thấy có cái gì đó trơ trẽn và khó chịu trong những lời thú nhận nói bằng cái giọng bình tĩnh ấy.

Bác Trelukin này, chuyện đó thì có liên can gì đến bác đâu. Vậy bác xuất hiện ở đây làm gì?

Treliukin nâng kính lên, cặp mắt ti hí của ông ta nhìn xoi mói và khô lạnh.

- Biết làm thế nào được, thiếu tôi thì các anh sẽ không thu lượm được gì cả. Anh cứ coi như là một món rau tập tàng gồm ghiếc. Còn sót lại trên đĩa một dúm nộm trộn lạnh ngắt... Còn Mitia thì đã bị người ta coi như một kẻ mất trí. Thấy một con người hồi tâm lại, tươi tắn lên, sáng khoái ra thì chúng ta lại coi như một kẻ mất trí. Những bức tranh mới của ông cũng góp thêm vào đó một cái cố nữa. Tôi đã không bác bỏ những lời đồn đại đó. Tôi muốn che chắn cho ông ấy. Còn đòi hỏi gì được ở một người đã mất khôn? Bệnh điên của ông ấy chẳng làm hại ai. Chẳng hạn ông ta vẽ những cái gáy. Mà quả là chính tôi cũng đã tự nhủ là ông ấy thế thật. Tôi đã tự biện bạch cho sự đê tiện của mình.

- Thế thì bác còn khóc lóc với tôi làm gì nữa – Serbakov nói, - Những lời tự thú của bác lúc này chẳng đáng một xu. Chúng không còn giá trị gì hết.

Sự việc lại thành ra quá gay gắt, tàn nhẫn đến mức Treliukin co rúm người lại, im bật. Lát sau ông ta chột nói bằng giọng ngạc nhiên:

- Vì sao tôi lại đau lòng đến thế nhỉ? Nghĩa là điều đó không còn giá trị gì sao? – ông ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhìn những vết ố loang bẩn thỉu, - Một cơ may duy nhất trong đời đã đến với tôi, thế mà tôi đã bỏ lỡ mất. Mà tại sao nhỉ? Chúng ta không thể nào chịu để cho một người khác có thể hoàn toàn không giống như chúng ta đây. – Ông lắc đầu, - Vậy nếu là anh, anh Serbakov, thì anh sẽ xử trí ra sao? Hơi quá lớn với anh đấy.

Bên xưởng vẽ vẫn chưa giải tán, người ta đang uống trà với mứt. Phalêev hát bài “Đàn vịt bay đi” bằng một giọng the thé, mọi người hát theo một cách rời rạc, giọng say mềm và ướt rượt. Khói thuốc lá mù mịt khắp nhà, ồn ào, nóng bức. Thấy Serbakov xuất hiện, cả đám ngưng bật. Trông mặt anh đờ đẫn và ngơ ngác như vừa bị một đòn giáng mạnh vào đầu. Chuyện gì đã xảy ra với anh, chưa ai kịp hỏi, anh đã tự lên tiếng như người đang trong cơn mộng du, giọng có phần bối rối: “Thế các vị có biết...” giá

là người khác thì cứ hăng khoan, chờ một chút cho trấn tĩnh lại đã, để người ta hỏi rồi hăng trả lời. Bao giờ trả lời câu hỏi cũng có lợi thế hơn là khiến người ta phải nghe mình kể lể. Nhưng lúc đó Serbakov vẫn còn cả tin và không hề cân nhắc lợi hại. Anh đã không đủ kiên nhẫn.

Mọi người nghe anh nói với vẻ tò mò. Chuyện Malinin đã bỏ đi, sống những năm cuối cùng ở Uran, tại một thị trấn nhỏ, nơi Treluiukin lãnh đạo một trường mỹ thuật. Ở đó, Malinin ăn dật, bắt đầu làm việc, không cho phép mình được sử dụng bất cứ cái gì của quá khứ, ngay cả diện mạo bề ngoài cũng thay đổi. Treluiukin đã đưa tranh của ông đi dự một cuộc triển lãm của tỉnh. Đã xảy ra một vụ xì-căng-đan. Song le Malinin cũng chẳng lấy đó làm khổ tâm lắm, ông còn bận với những tìm tòi của mình. Đáng tiếc là Serbakov đã không sao giải thích được những tìm tòi ấy là gì. Và cả tên của cái thị trấn nhỏ ở Uran kia anh cũng không nhớ ra, hình như anh cũng không nghe rõ cả cái bút danh mới của Malinin nữa. Tất cả những cái đó khi trò chuyện với Treluiukin tuồng như chẳng quan trọng gì, nhưng lúc này thì lại gây nên những thắc mắc chính đáng. Serbakov lảng tránh những câu hỏi đó, thế là câu chuyện của anh mất hẳn sức thuyết phục. Có tiếng ai đó bật cười – có thể là anh định lờ họ chẳng? Alla khuyên anh nên uống trà đặc. Anh có cảm giác mọi người không ai tin anh, và thế là anh rối trí. Anh không hiểu họ cần những địa chỉ, tên họ kia để làm gì, tất cả những cái đó chỉ thêm lời thôi rồi rằm, mà có gì quan trọng đâu, những tiểu tiết cụ thể thì có thể hỏi lại Treluiukin. Họ đi gọi Treluiukin, nhưng không tìm ra ông ta.

Uống trà xong, Serbakov thấy mệt xỉu. Anh chùi nước bọt sùi trên mép và nói mỗi lúc một to:

- Hãy từ giã thế giới đi! Khỏi cần luyện tiếc nữa! Các người có hiểu không? Treluiukin đã tự nhận mình không là thá gì hết, vì thế tôi tin ông ấy. Vậy hãy trả lời xem, Malinin những năm qua đã đi những đâu, hả? Không ai phản bác gì ư? Đó-đó!

Đến đây, Phalêev nhếch môi chua chát, nói rằng thiếu gì chuyện mà những người vô trách nhiệm như Treluiukin có thể đơm đặt ra. Cần phải có

thái độ phê phán với cái lối dựng chuyện kiểu đó. Khổ kẻ bây giờ muốn dây dính đến tên tuổi của Malinin, họ chẳng ngại gì đâu. Chuyện ấy chỉ dành cho những kẻ cả tin, những kẻ chẳng biết gì về Malinin, về lòng yêu cuộc sống của ông cả... Anh ta nói với giọng của một người am hiểu thấu đáo, nhưng không có vẻ giấu cợt, mà nghe như đang bênh vực cho Serbakov, định biến câu chuyện thành một giai thoại vui, nhưng là một chuyện vui do Serbakov hiến cho mọi người, một giả thuyết nghe cũng khá xuôi tai và có thể trở thành đề tài cho những cuộc hàn huyên vui vẻ. Đáng lý ra Serbakov phải thờ dài một cái rồi phá lên cười. Nhưng anh đã xử sự vụng về, quay ra tranh cãi với Phalêev, ra sức chứng minh rằng mọi chuyện là đúng như vậy, mặc dù không đưa ra được một bằng chứng nào. Anh hươ tay làm vỡ tan một cái ly, và ngay lúc đó, Phalêev gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn và nghiêm giọng nói rằng tên tuổi Malinin từ nay thuộc về lịch sử nền nghệ thuật của chúng ta và không kẻ nào được phép nói nhăng nói cuội về ông.

Alla kéo Serbakov ra khuất tầm mắt của Phalêev:

- Đừng chấp anh ấy làm gì! – Cô ta nói – họ quá chén đấy mà.

Cái chữ “đừng chấp” làm Serbakov tức hơn cả. Trong đám những bộ mặt đỏ gay, bóng nhẫy, đỏ gay vì rượu vôt-ka, anh không tìm thấy dù chỉ một khuôn mặt biểu hiện một chút cảm thông. Anh không còn bạn bè ở đây. Nỗi xót xa cho chính mình xuyên thấu lòng anh – không còn lấy một người bạn nào, thực vậy, anh không còn tìm đâu được một người bạn quan tâm chia sẻ những tình cảm và suy nghĩ của anh. Trời ơi, sao anh lại cô độc thế này! Khuôn mặt đánh phấn của Alla bỗng nhòa đi.

- Ai trong số các anh có gan làm như thế? Không một ai cả. – Anh kêu lên – Malinin đã cài vào cho các anh một cái ngòi nổ đấy.¹¹ Không thích à?

Những lời khuyên can càng khiến anh phát khùng, nói lảm nhảm, sừng sộ như đã say khướt, vì thế phải lôi anh đi. Làm được việc đó chỉ còn có

Andrianov, người duy nhất mà Serbakov chịu nghe lời.

Ngoài đường sáng ánh tuyết, cái ánh trắng còn chưa quen mắt ấy dát lên những bãi cỏ, mái nhà, cây cối, bậu cửa sổ. Quang cảnh sạch sẽ như trong một ngày hội, thành phố dường như vừa được dọn dẹp tinh tươm. Andrianov bỗng muốn quay lại.

- Mình về nhà đây, - anh ta nói. – Kệ xác bọn họ. Tiệc tùng càng dài, kỷ niệm về người quá cố càng qua mau thôi. Mình đã dặn Anka giải thích cho Phalêev rằng cậu nổi điên lên như thế là vì cô ta. Ghen thôi. Vì tốt hơn cả là đừng dây với Phalêev, hẳn chắc sẽ không tha cho cậu đâu.

Ngoài phố yên tĩnh, không nghe thấy tiếng chân bước. Đó là vì có tuyết. Serbakov nghĩ ra và mừng vì mình đoán ra được.

- Thế can gì mà hấn sừng cồ lên?

- Bởi vì cậu, đồ gàn ạ. Cậu động đến nguồn gốc sự tồn tại của hấn. Mà câu chuyện đáng ngờ của cậu thì có lợi lộc gì cho Phalêev cơ chứ?

- Nghĩa là cậu cũng không tin?

Andrianov xoay xoay cái ô, lẩm nhẩm hát:

Em tin, em tin chứ

Bản thân em đã trải nghiệm rồi...

Lát sau cười to và nói:

- Ở thì tốt tin, rồi sao?

- Thế sao cậu không nói gì? Đó là cả một sự kiện. Nó sẽ làm thay đổi tất cả.

- Chẳng thay đổi gì đâu. Ta không biết làm thế nào để mình vẫn là mình, vẫn giữ nguyên được “cái tôi” vô giá của mình. Không, anh bạn thân mến, tất cả những cái đó là trò hão hê cả thôi. Khám phá ra ở mình một con người khác, tôi có thể thế này, tôi có thể thế nọ, - Andrianov nhại, - Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, ái cha, trong tôi có biết bao nhiêu thứ... Cuộc đời không thể bắt đầu lại từ đầu được đâu, chỉ có thể tiếp tục thôi, - Andrianov tổng kết một cách quả quyết, giọng cáu kỉnh – Cậu rõ chưa nào?

- Nhưng Malinin làm được. Ông ấy đã bắt đầu lại từ đầu.

- Rồi sao? – Andrianov kêu lên. – Rồi sao nào? Không có gì hết! Được gì nào? Không gì hết! Có thể ông ta mới biết thân. Tớ đã bảo ông ta rồi mà! Cho đáng kiếp.

- Sao lại thế được?

Andrianov không đáp, chọc mạnh cái ô xuống tuyết, để lại những cái lỗ đen ngòm, chưa bao giờ thấy anh ta như thế. Anh đã quen thấy Andrianov không thể bị tổn thương, bất kể cái gì chạm vào anh ta cũng đều trơn tuột đi không để lại dấu vết nào. Cứ tươi ngời và ráo hoảnh, y như một tấm vải mưa vậy. Serbakov thường trêu anh ta, nhưng trong thâm tâm vẫn ghen tỵ và thán phục.

Họ im lặng đi một lúc. Serbakov thở sâu, tỉnh táo dần vì không khí giá lạnh.

- Nói cho cùng thì vấn đề không phải là ở thành quả, - vấn đề là ở ý tưởng.

- A, thế ra cậu đúng là một chú chim non nghiện rượu! Một kẻ sống trên mây. Trong công việc của chúng ta, cậu cố mà ghi nhớ điều này: mọi sự đều là do thành quả quyết định... Chính ông ta là kẻ không ăn được thì đập đổ. Mình không thể tha thứ cho ông ta được.

- Chuyện gì vậy?

- Do ông ta mà bọn tớ mất toi cái đơn đặt hàng. Mà tuột mất một cái đơn đặt hàng cỡ nào chứ? Trang trí Cung thanh niên? Hiếu chứ? Giải thưởng là cái chắc! Cho cả nhóm. Ông ta đã từ chối. Cậu biết đấy; cái đó không ăn nhập với những tìm tòi của ông ta. Cái phong cỡ lỗ ấy đã tìm cách tự thể hiện khác. Khốn kiếp thế đấy! Chỉ nghĩ đến mình, đến cái độc đáo, duy nhất của mình.

- Không, cậu lầm rồi, ông ấy đâu có bốn phận phải...

- Ông ta thì cần quái gì. Ông ta đã có tất cả, ních đầy rồi, lại muốn làm một vòng thứ hai nữa... Phách lối hơn là tài năng. Phải biết ơn vì những gì đã có được chứ!

- Khuôn mặt đẹp trai của anh ta méo xệch đi, hoàn toàn không còn gì giống với anh chàng Andrianov mà mọi người vẫn yêu mến và cũng yêu mến hết thầy mọi người, một anh chàng con cưng của số phận, không bao giờ gây thù chuốc oán với ai, - một biệt lệ tuyệt vời trên cõi đời này.

- Cậu ạ, còn tùy cách nhìn nhận như thế nào... - Nhưng Serbakov bỗng ngừng bật, sững sốt vì điều chợt đoán ra. - Khoan đã, thế nghĩa là cậu có biết?

- Á a à, về chuyện này, - Andrianov nhếch mép cười hiểm ác. - Còn cậu, đồ thộn kia, cậu tưởng không ai biết gì thật sao? Thời buổi này thì trốn đâu cho thoát được...

Điều anh ta vừa nói có nghĩa là chưa chừng cả những người khác, cả tay Phalêev cũng đều biết, nhưng không để lộ ra, vẫn gật gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi han. Cái bản lĩnh tự chủ của những con người ấy, sự kín đáo của họ khiến Serbakov khiếp sợ.

- Sao cậu lại có thể như thế khi họ chế nhạo mình... - Anh nhìn Andrianov bằng cặp mắt khác hẳn, đầy kinh hãi.

- Đừng khịa với tôi, - Andrianov cảnh cáo, giọng lạnh tanh. – Nếu như lúc còn sống, Malinin cho rằng cần phải giấu nhẹm chuyện này thì bây giờ cũng chẳng nên moi móc ra, huyền thuyên làm gì. Có một Malinin, có những tác phẩm của ông ta, còn những cái khác – không phải việc của chúng ta.

Serbakov trân trối nhìn phía trước mặt, cảm thấy nước mắt ứa ra. Chúng đọng lại ở đó, những giọt nước mắt hồ thẹn của trẻ con, anh không biết làm gì với chính mình nữa.

- Cậu tin cái lão gàn dở ở Uran kia là có thật à? Thế thì lại càng chẳng nên dính mũi vào. Đã từng có một Malinin đã trở thành Không-phải-Malinin. Và chớ có lẫn lộn hai người đó với nhau. Chớ đấy, - Andrianov dẫn giọng. – Malinin là thầy dạy của tôi, mà cũng của cả cậu nữa. Thầy dạy – đó là một cái mác, một phổ hệ. Một thứ thương hiệu. Mà phổ hệ thì phải thanh khiết.

Họ ra đến đường lớn. Những ngọn đèn đường trên cao chói sáng. Tuyết bị xéo nát. Trời gió. Serbakov lau mắt, húng hắng họ

- Chuyện đó có gì là dở đâu? Câu chuyện ấy sẽ tô đẹp thêm cho tiểu sử của Malinin. Tất nhiên nếu thành quả được đo bằng các giải thưởng thì...

- Thôi dẹp quách đi, - Andrianov ngắt lời anh. – Cậu đang nói tới cái thành quả nào vậy? Cậu có muốn bọn tôi cho cậu đi thực tế để sáng tác không? Cậu cứ đi rồi khắc hiểu. – Anh ta trở lại vui vẻ, đẹp trai, mắt anh ta lại long lanh niềm nở.

Ba năm sau, người ta làm lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm tại ngôi nhà Malinin từng sống. Giao thông trên phố bị nghẽn lại. Có cả các cháu thiếu niên tiên phong, sinh viên, đại biểu các doanh nghiệp tới dự. Serbakov đứng ngay gần bục diễn giả và nhìn khắp đám đông. Không thấy Treliukin đâu. Serbakov cũng không mong thấy ông ta nhưng vẫn đưa mắt tìm, nhìn hết hàng nọ đến hàng kia. Phalêev đang phát biểu. Trông anh ta đầy đà ra,

giọng quánh đặc, hơi phả ra từ miệng anh ta thành những đám mây khi nhỏ khi to và tan biến trong cái tiết băng giá lấp lánh. Phía trên cao, giữa vòm trời xanh cũng bập bênh những đám mây tròn trịa như thế. Tầm biển dày dặn, băng đá hoa cương xám, trông nặng chịch. Trên tầm biển, hơi nhô lên một chút là bức phù điêu nổi màu trắng – khuôn mặt Malinin nhìn nghiêng nghiêm nghị, đường nét đều đặn kiểu cổ điển như được chạm trên đá. Không hiểu sao trong tâm trí Serbakov cứ văng vẳng câu “Người đã được đặt lên cân và thấy mình nhẹ bằng”, nghe như một vần thơ.

- Trông chinh lắm. – Andrianov nói.

- Làm rất có “gu”, - Serbakov xác nhận và ghé sát tai Andrianov. – Đôi khi mình cứ nghĩ sao ông ấy không quay trở về nhỉ... Nếu việc không thành thì vẫn có thể quay về đây được chứ. Thế mà ông ấy không hề có ý định đó. Vậy là ông ấy đã thấy lóe lên một cái gì...

- Cậu nên nghĩ đến công việc của mình thì hơn, - Andrianov nói. – Ai lại đi tổ chức triển lãm riêng tranh của mình ở rạp chiếu phim bao giờ! Thiếu nghiêm túc. Cậu đến gặp Nina Gurgenovna đi, mình sẽ bảo chị ta.

Nền nhà Malinin ít lâu sau được lát gạch nâu, tầm biển được đem ra gắn ngoài cổng để lấy chỗ treo biển cửa hàng bán bánh tráng. Hiệu bánh chiếm hết tầng dưới. Từ nơi ấy lúc nào cũng thấy hơi nước phả ra và văng tiếng nhạc. Vì thế khi người ta đề nghị Serbakov lấy lại cái xưởng vẽ trước đây của Malinin, anh đã từ chối. Những khoang gác lửng đã bị dỡ bỏ, những cái tay nắm bằng đồng cũng bị tháo mất... và phía dưới nhà rất ồn. Song nguyên nhân đích thực là ở cái cảm giác xâm chiếm lấy anh khi đứng giữa những bức tường ấy. Anh thấy trong lòng bồn chồn không yên. Như thế ở đây người ta sẽ nói với anh điều gì hoặc giả chính anh phải nói, phải hỏi, phải làm một cái gì đó, nhưng đích thị là cái gì thì chính anh cũng không biết nữa.

Serbakov được cấp một cái xưởng vẽ ở một khu nhà mới xây dựng, rộng rãi, có ánh sáng từ hai phía, có căn hộ riêng, - mà tiện cái là nó lại cách

không xa chỗ đường chắn dẫn vào khu nghĩa trang.

Mùa xuân, Serbakov thỉnh thoảng vẫn lui tới chỗ đó. Lần nào cũng vậy, anh quanh quẩn rất lâu trong những lối đi hẹp chạy giữa các hàng bia mộ. Tìm đến bên năm mộ của Malinin, anh ngồi xuống cái ghế dài và đăm chiêu nhìn cái bãi chi chít đủ các loại bia: quý đất và đơn sơ, được chăm chút và bị lãng quên, cầu thả và nghiêm cẩn, cả cái đám hỗn tạp ấy đều được thiên nhiên ân cần phủ lên một lớp lá hoai mục màu nâu như nhau. Phía đối diện là lớp lớp những khối nhà nhiều tầng quyét vôi trắng, hăng trăm ô cửa sổ.

Chím hót ríu rít và Serbakov bất giác bắt đầu mơ mình sẽ tìm đến một thị trấn nhỏ, một nơi heo hút nào đó và sẽ vẽ ở đấy đủ thứ mà không phải bận tâm nghĩ gì đến triển lãm, trưng bày và đơn đặt hàng nữa. Nghĩ về điều đó thật dễ chịu và buồn. Anh nhớ lại câu chuyện xảy ra với Malinin, tất cả những gì Treliukin đã kể, nhưng, lạ thay, sao câu chuyện ấy đối với anh mỗi ngày càng trở nên khó tin hơn, hành động của Malinin trở nên không lý giải được. Tuy vậy, vẫn có một cái gì đó khiến Serbakov lo âu và bứt rứt, đặc biệt là ở đây, bên tấm bia mộ này. Có lẽ nên đến đặng ấy, chỗ Trêliukin ở, cho dù có thể ông lão ấy không còn nữa. Nhưng mà tất cả những cái ấy có thật thế không nhỉ? Anh ngồi đó, bỏ mũ, trong nắng ấm và không hiểu sao vẫn chần chừ, chờ đợi, vẫn biết rồi sau đó sẽ lại tự rủa mình đã phí thời giờ vô ích.

Chú dẫn:

Trong truyện ngắn này, tác giả có dùng một điển tích trong Kinh thánh mà có lẽ nhiều bạn đọc không rõ, vì vậy xin nói qua về tích đó. Theo Sách Danien, vua Bantaza mở một bữa tiệc lớn, cho lấy những đồ thờ bằng vàng, bạc trong đền thờ nhà Chúa Trời Gieerudalem để dùng trong bữa tiệc. Ngay giữa lúc yến ẩm, một bàn tay hiện ra viết lên tường những dấu hiệu kỳ lạ không ai đọc được, kể cả các bậc thông thái trong triều. Danien được mời đến, đọc ra mấy chữ “Menee, Têken, Uphacsin”; Mêne nghĩa là “Chúa Trời đã đến nước của người và làm người mất nước”, Têken - Người bị đặt lên

bàn cân và thấy mình hụt trọng lượng và Uphacsin - nước của người được đem ban cho người Meedi và Phêresơ. Đêm ấy Bantaza bị giết.

Ты взвешен на весах...

Авт.сб. "Наш комбат". М., "Правда", 1989.
OCR & spellcheck by HarryFan, 6 December 2001

Хоронили художника Малинина. Было людно, что удивило Щербакова. Гроб стоял в зале, там происходило движение, приносили цветы, венки, при этом у самого гроба возникала толкотня, все старались разглядеть покойного. Разглядывали с любопытством почти неприличным, даже недоверием. И сам Щербаков испытывал примерно то же, поскольку давно не числил Малинина в живых. О Малинине каким-то образом позабыли, и, оказывается, прочно, поэтому то, что он умер только сейчас, воспринималось с недоумением.

В дальнем углу играло трио. Между зеркал, завешанных холстами, висел в траурной раме фотопортрет Малинина с орденами и лауреатскими значками. Сами они, поблескивая, лежали тут же на красных подушечках, Малинин же лежал отдельно, повыше, среди цветов и венков.

Приехало начальство, похороны сразу обрели значительность, и уже не было места недавнему смущению.

Когда Щербаков встал в почетный караул, он увидел Малинина рядом, но не узнал его. Задрав седую бороденку, которой на портрете не было, сухонький старичок с каменно-ожесточенным смуглым лицом жмурился не то от сильного света, не то от любопытных взглядов, в последний раз устремленных на него. Совсем Малинин не был похож на того величаво-благодушного мэтра, которого Щербаков помнил по институту, привыкшего к вниманию, уверенного в своей безошибочной руке. Тот Малинин был насмешлив, весел, окружен сиянием успеха. Таким он и возникал в речах, что произносились над ним одна за другой. Ораторы смотрели то на покойника, то на бумажки, как бы не доверяя своим глазам. Перечисляли награды, должности, названия некогда на шумевших выставок и картин. Из всего этого количества следовало, что Малинин заслужил славу большого художника, выдающегося, замечательного.

Некоторые его картины действительно помнились Щербакову до сих пор со всеми деталями; вспомнил он и то, как Малинин приглашал его зайти к себе в мастерскую, а Щербаков постеснялся, не пришел; жил рядом, выходит, с таким художником, может быть, классиком - и не понимал. Выступила женщина из Министерства культуры. Говорила она без бумажки, проникновенно, о жизни, наполненной служением искусству, и Щербаков впервые взгрустнул. Но на словах "сколько красоты мог еще дать людям его талант" голос ее прервался, и тогда Щербаков вспомнил, что этот прерывистый вздох вместе с этими словами он услышал от нее же на похоронах режиссера их театра.

Он оглянулся. Неподалеку стояли Андрианов и Фалеев, они обсуждали, кого ввести в худсовет вместо покойного. Спорили они тихо, сохраняя на лицах скорбное выражение. На других лицах было такое же изображение скорби. Одинаковость этого выражения заинтересовала Щербакова, секрет тут, очевидно, в том, думал он, что чувство это неискреннее, потому что искренние чувства несхожи и у каждого они должны выражаться по-своему.

Заиграл оркестр. Траурная мелодия поднялась над гробом, над венками, подушечками, и в зале впервые повеяло тайной человеческой смерти, ее вечной загадкой.

На кладбище поехало совсем немного народа. Хватило двух автобусов, остальные пришлось отпустить. Ехали долго. Долго стояли у переезда. Дождь перешел в снег. Крупные хлопья таяли в желтых лужах. В автобусе говорили о болезнях, обсуждали, почему Малинин последние годы не выставлялся, одни считали, что у него был кризис, другие, что он болел. Щербаков досадовал на себя за бесхарактерность. Когда гроб понесли из зала, большая часть публики куда-то пропала, непонятно было, как могло сразу исчезнуть столько людей. Те, кто замешкался, боком пробирались мимо администратора - Нины Гургеновны, которая громко приглашала в автобусы. Осмотрев сидящих там, она пожаловалась Андрианову: все старики, кто же гроб нести будет?

Андрианов покачал головой:

- Ни стыда, ни совести.

На нем было новенькое пальто коричневой кожи, оно ярко блестело, и весь он, высокий, плечистый, блестел здоровьем и приветливостью.

- Вот Щербаков поедет. Верно?

- О чем разговор, - сказал Щербаков и полез в автобус.

Сидя в автобусе, он видел, как Андрианов поднял зонт, нажал кнопку, черный купол раскрылся, Андрианов под ним проводил Нину Гургеновну к передней машине, сам же отправился куда-то своей легкой походкой. Щербаков ругал себя, но отказать Андрианову не мог. Со студенческих времен он признавал первенство Андрианова и привык подчиняться ему. Андрианов был гордостью их выпуска. Впрочем, успех его не имел прямого отношения к его дарованию. Скорее он был обязан счастливому своему характеру, а еще точнее натуре, потому что характер Андрианова определить было трудно, зато имелись качества, привлекавшие к нему всех, - веселость, ровная приветливость со всеми, готовность помочь, и в то же время была цепкость, уверенность в себе, он умел держаться с начальством с достоинством человека талантливого, и начальство его уважало.

Земля на кладбище раскисла. Гроб был тяжелый. Щербаков нес и смотрел себе под ноги, боясь поскользнуться.

За железными прутьями кладбищенской ограды раскинулась стройка. Там в синем дыму рычали панелевозы. Длинные жилые корпуса наращивали третий этаж. Кран медленно опускал квадрат стены с готовым окном. Сквозь запыленное стекло навывлет скользило серое косматое небо. Панель встала на место, и Щербаков подумал, что отныне из этого окна всегда будет видно кладбище, похороны, кресты иobelisks. Ничего плохого в этом нет, думал он, зря кладбища стараются отодвигать подальше, на окраины, зря чураются их. Лично он сохранял бы небольшие кладбища посреди города. Чтобы помнить о бренности жизни. Чтобы хоронили при всех, чтобы водили школьников для размышлений; как это у Пушкина - младая жизнь чтобы играла у гробового входа. Смерть надо использовать для улучшения человека. Мысли эти нравились Щербакову. Когда-нибудь, когда ему не надо будет служить в театре и он не будет зависеть от заказов, он напишет серию акварелей - разные кладбища, могилы. Надгробья - заброшенные, ухоженные, пышные, тщеславные... Не смерть я воспеваю, а жизнь, скажет он, если его станут обвинять... Занятый своими мыслями, он не заметил, что происходило некоторое замешательство - Нина Гургановна не могла найти кого-то, кто должен был заключать церемонию. Из-за непогоды народу убыло, некоторые ушли в автобусы. Щербаков очнулся, когда Нина Гургановна взяла его под руку, умоляюще зашептала. Он совершенно не был готов выступать; в сущности, на похороны он попал случайно, его послали от театра возложить венок. Он хотел все это объяснить Нине Гургановне, но в этот момент между ними втиснулся какой-то пожилой толстяк с фотоаппаратом на животе и попросил у Нины Гургановны разрешения выступить. Толстые очки его сползли на кончик потного носа, он смотрел с таким волнением и мольбой, что Нина Гургановна мгновенно насторожилась. "Челюкин?" - переспросила она, фамилия эта ей ничего не говорила, и Нина Гургановна решительно отказала - уже поздно, сейчас, в заключение, от молодых, от учеников слово имеет Щербаков, и тут же объявила его.

Щербаков испугался, и, как ни странно, при этом его не зажало, наоборот, на него словно накатило и понесло - про Малинина, которого он знал так мало, хотя мог знать лучше, да вот упустил, про то, что, кроме художника Малинина, картины которого останутся, был еще человек Малинин и умер-то как раз человек, которого не сведешь к картинам. А теперь, когда его не стало, окажется, что человека не знали, никто не знал его...

С чего это он взял, причем с уверенностью, которой ему всегда не хватало.

Впрочем, его не слушали. Жались под зонтики, тоскливо переминались с ноги на ногу. Смотрели на него безучастно, незряче. Могильщики готовили веревки. И вдруг среди этой холодной измороси Щербаков ощутил чье-то устремленное к себе внимание. Он не сразу нашел этот огонек в подслеповатых красных глазах. Там, за стеклами очков, что-то разгоралось навстречу каждому его слову с каким-то мучительным восторгом. И Щербаков говорил уже только для этого толстяка, как его - Челюкина? - который стоял, сняв берет, и снег вместе с дождем падал на его лысину.

Стали забивать крышку гроба, все зашевелились, и вот тут этот Челюкин заплакал. У него даже вырвалось рыдание тонким птичьим вскриком. Он удерживал себя и не мог удержать. Отчаянный этот крик получился неуместным... Принялись сморкаться, всхлипывать какие-то старушки, плакали они тихо, прилично, скорее над собственной близостью к смерти. Вытирали глаза, щеки, но, может, мокрые от дождя. Челюкин схватил фотоаппарат и стал беспорядочно наводить и щелкать. Слезы быстро катились по его бледным щекам. И такое горе было в этих слезах, которые он никак не мог скрыть, что Щербаков опустил голову, было неудобно за Челюкина, за озябшую смущенную кучку людей, за торопливость, с которой забрасывали могилу.

С кладбища поехали на поминки. Щербаков продрог и поехал вместе со всеми, мечтая выпить водочки.

Стол был накрыт в мастерской Малинина. Огромная, запущенная - потолок в потеках, стены облупленные - мастерская тем не менее восхитила Щербакова своим простором, антресолями, куда вела дубовая лестница. Продуманные удобства сочетались с добротностью, размахом - чего стоили полки для красок, бронзовые ручки, выдвижные рамы стеллажей, ступени, обитые медью.

Вокруг стола хлопотали двоюродные сестры Малинина. Народ прибывал, толпились у раковины, большой, синего фаянса, мыли руки. Появились Андрианов, Фалеев с Аллой и с дамой из министерства. Когда расселись, рядом с Щербаковым сел Челюкин. Первую, как положено, выпили не чокаясь за светлую память. Щербаков сразу же повторил и принялся закусывать. Принесли горячую картошку, куски вареного мяса, рисовую кашу с изюмом. При чем тут каша, Щербаков не понял. "Кутья" - подсказал ему Челюкин, который воспринимал все с благоговейной серьезностью. Стол дымился, поблескивая хрусталем, зеленью овощей, протертыми, лоснящимися помидорами. Свежесть и яркость стола никак не вязалась с тусклыми, немытыми окнами, с нежилой затхлостью, видно, давно заброшенного помещения. Всем это бросалось в глаза. И тут выяснилось, что никто из присутствующих в последние годы не заходил сюда, в мастерскую. Это было непонятно, потому что раньше посещали ее часто. Сидели допоздна, пели, пили, выясняли, кто как пишет. К Малинину тянулись, он помогал, подсказывал, он имел множество должностей, от которых отказывался, отбивался, страдал и все же возглавлял, входил... Он любил свою общественную деятельность - вроде суетную, пустую, но необходимую его темпераменту. Работал он в этой мастерской быстро, легко успевал участвовать во всех выставках. Написал сотни картин, тысячи листов графики... И вот почему-то все это оборвалось. **Малинин** перестал выставляться. Новых работ его не видели, никто о них не слышал. Он отказался от персональной выставки в Манеже. Отказ его произвел впечатление.

Полагали, что он что-то пересматривает, ищет, может, у него что-то не задалось. Все реже он показывался в Союзе художников, куда-то пропадал. К телефону не подходил, на письма не отвечал. Незаметно от него отвыкли, он затерялся.

В искусстве тот, кто не напоминает о себе, быстро перестает существовать. Считалось, что Малинин есть, он подразумевался, где-то он пребывал, но как бы незначительно, как воспоминание, все более слабое... Щербаков спрашивал одного за другим, и обнаружилось, что в последние годы Малинина вообще не видели, ничего не знали о нем. Всем стало как-то неловко. В этот момент, случайно взглянув на Челюкина, Щербаков поразился напряженной его позе: Челюкин втянул голову в плечи, застыл, словно затаился.

- Вы-то видались с Малининым? - спросил Щербаков.

Челюкин, вздрогнув, посмотрел на него долго, нерешительно, и не ответил.

- Большой художник нуждается в молчании, в паузе, - заговорил Фалеев. - Возьмите Гогена, Александра Бенуа, Боттичелли, да мало ли. Надо накопить. Молчание - это очищение, катарсис. Малинин вынашивал новый взлет.

Речь его звучала внушительно, успокоенно, и все охотно согласилось с ним, довольные, что можно перейти к другим темам, и разговор рассыпался.

Один Щербаков был раздосадован. Вмешательство Фалеева все испортило. Самоуверенный говорун, который тем не менее умел подавлять людей категоричностью, многозначительными намеками, как бы внушая, что за его словами есть еще что-то, чьи-то суждения, а может, и сведения. Щербаков покосился на Челюкина. Тот тихо спросил:

- Это кто?

- Профессор Фалеев.

- Слышал.

- Что же вы слышали?

- Известный искусствовед.

Фалеев сидел наискосок от них и ел чавычу. Сочные губы его были того же густо-красного цвета, что и чавыча, и это было противно Щербакову. Над губами шевелились обвислые черные усы. Фалеев отрастил их недавно, чтобы походить на казака, поскольку с некоторых пор любил упоминать о своем казацком происхождении.

Щербаков не верил ему, может, потому, что Малинин терпеть не мог Фалеева и не стал бы с ним делиться... "Катарсис", "очищение", - и слова эти, и фалеевская манера произносить их - все было сейчас неприятно Щербакову, и оттого, что Щербаков не мог показать Фалееву этого, потому что боялся его, как и все остальные, от этого он злился еще сильнее.

Сам Малинин, хотя сторонился Фалеева, ссориться с ним избегал. В статьях Фалеева, даже хвалебных, угнетали конструкции, которые он находил в картинах, от его разбора они гибли. Малинин называл его "искусстводав". И то, что Фалеев сейчас присутствовал здесь и

нахваливал Малинина, говорил о нем по-хозяйски, все разъясняя, казалось Щербакову кощунством.

- А вы как думаете? Про молчание Малинина? - спросил Щербаков Челюкина.

- Почему молчание. - Челюкин пожал плечами, вздохнул, потом сказал: - А если не было никакого молчания? Может, это другое... Кризис...

Щербаков засмеялся.

- От кризиса не перестают писать, от кризиса становятся начальством, вице-президентом академии, ректором. Да мало ли куда можно податься.

Он сунул в рот горячую картошку и сказал с набитым ртом:

- Какой может быть кризис при такой мастерской. Верстачок в нише - это же игрушка! Багеты. Резные рамы. Работай - не хочу.

Щербакову жизнь Малинина показалась обольстительно-загадочной. Собственно, пока шла жизнь, она казалась ясной, но вот человек умер - и появились тайны. Странно, что смерть так изменила образ человека. Все не прояснилось, наоборот потеряло четкость, суть человека скрылась.

Тем временем Андрианов произносил тост о краткости жизни и переходе к иному существованию. Лицо его было серьезно, но безупречные зубы ослепительно сверкали, стоял он звонко-крепкий, орехово-смуглый, и чувствовалось, что говорить о смерти ему не страшно, даже чем-то забавно. На его предложение выпить за истинных художников, неподвластных времени, рюмки дружно поднялись, и Щербаков ощутил приятную свою причастность к этому бессмертию. Заметив обращенную к нему улыбку Андрианова, он подумал - не попросить ли его насчет мастерской? А что, если этой? Но вздохнул, понимая, что не по чину. Он поскущел, и Алла через стол подмигнула ему, считая виновником Челюкина: что за хмырь тебе в соседи достался? Челюкин супился, не ел, не пил, поглядывал угрюмо, единственный здесь в черном костюме, в черном галстуке. Была в нем чуждость разговорам, которые составляли общий интерес для всех этих людей. Мелькали громкие имена, излагались мнения о других громких именах, сообщались новости, прогнозы, предположения. О предстоящих выборах в секцию, о кандидатах на премию, о зарубежных командировках...

Тяжелое молчание Челюкина мешало Щербакову и говорить, и слушать.

- Вы почему не пьете? - спросил Щербаков.

- Стыдно, - сказал Челюкин.

- Чего?

- Какие же это поминки? При чем тут Митя?

- А вы его давно знали?

- Студентами. В одной комнате жили.

- Вот вы и расскажите. Я вас сейчас объявлю.

Щербаков взял ножик, собираясь постучать по тарелке, но Челюкин испуганно схватил его за руку.

- Не надо. Зачем им мешать!

Щербаков заспорил, ему хотелось, чтобы Челюкин выступил, однако слово перехватил Фалеев, заговорил о молодости Малинина, о том, что самые сильные работы были у него в тридцатые годы - поиски формы, эксперимент, модернизм, - да вот не дали ему развернуться, прикрикнули, навалились, запретили, пришлось ему искать иные пути.

- И как это дорого обошлось! А если бы свободно развиваться, самому преодолевать свои юношеские излишества... - говорил Фалеев, ни к кому не обращаясь, но следя за тем, чтобы все его слушали. - Я думаю, - он сделал маленькую паузу, - из споров с другими возникает риторика, из споров с самим собою появляется поэзия!

- Вот это да! - воскликнула Аллочка. - Колоссально!

- Но вы же сами ругали его, - вдруг скрипуче проговорил Челюкин, глядя себе в тарелку. - Вы же писали...

- Я? Когда ж это? - удивился Фалеев.

Все кругом насторожились.

- Вы осуждали его за бесплодные формальные искания молодости. - Челюкин нервно покраснел, натужно поднял голову и продолжал с той же мучительной ему твердостью. - Приводили его как учебный пример. Вот, мол, какие заблуждения одолел, из какого болота выбрался. А теперь, извините, шиворот-навыворот. Хвалите.

Изумление Фалеева было неподдельным: никто никогда не осмеливался говорить ему такое. У него даже рот полуоткрылся. На Челюкина смотрели, будто впервые увидели его. Один Щербаков был в восторге.

- Да откуда вы свалились, да вы понимаете... - начал Фалеев поднимать голос, но вовремя нашелся, расхохотался благодушно, прощая бедного этого старика за то, что позабавил. - Милый вы мой, да как же иначе могло быть. Это только догматики повторяют то же, что твердили двадцать лет назад. Я не догматик. Я, дорогуша, раньше всех, раньше самого Малинина пересмотрел. А тогда мои выступления заслонили его, сохранили, иначе бы ему устроили мясорубку. Да разве бы ему простили!

Челюкин поднялся, на выпирающем животе у него торчал фотоаппарат:

- Неблагодарно! - Он покраснел еще сильнее. - И неправда!

Он вышел из-за стола. Шея его блестела от пота. Уже в дверях, со странной для его толщины ловкостью он извернулся, мгновенно наставил объектив на Фалеева, щелкнул, кляцнув затвором, будто выстрелил, и исчез.

Некоторое время стояла ошеломленная тишина.

- Псих, - твердо определил Фалеев. - Откуда он взялся? - Строгий вопрос этот был направлен Щербакову.

- Понятия не имею. Приезжий вроде.

- Физиономия дебила. Типичный чайник. Посторонний человек, - продолжал Фалеев. Щербаков почувствовал на своих губах улыбку.

Маленькая, непрошенная, она не уходила, никак было с ней не сладить. Люди за столом, и стол, и посуда показались комично-плоскими, как на бумаге. Мокрые усы Фалеева, кошачьи его желтые глаза - все можно было свернуть в трубочку. Останутся стены, предвечерний свет из высоких окон...

- Между прочим, этот человек - единственный, кто плакал на кладбище, - сказал Щербаков. - Хотя вы ж не видели. Вас там не было. Вы только сюда явились.

Получалось грубо, и он несколько струхнул. Но виду не подал. Таких, как Фалеев, можно брать только нахрапом...

Щербаков вышел, чуть покачиваясь, стараясь двигаться по идеальной прямой. Длинный коридор уводил его в глубь малининской квартиры. Сундуки, велосипеды на стене, ниши... Он толкнул какую-то дверь с матовым стеклом, очутился в полукруглой комнате. Там было полукруглое окно, скошенный потолок с темными потеками, стены, заставленные книжными полками. Посредине овальный стол карельской березы, подле него высокое кресло, обтянутое малиновым бархатом. Желтый свет голой лапочки делал все тусклым, пыльным.

На полу у окна прислонены были три небольших холста. Перед ними на четвереньках ползал Челюкин.

- Вот вы где, - сказал Щербаков.

Челюкин не ответил. Шлепая руками, он передвигался от одной картины к другой, умиленно сопел, пофыркивал, похожий на черного пуделя.

Портрет девушки, портрет старухи, дачный интерьер - все три вещи исполнены красиво, легко, с той чуть детской угловатостью, которая отличала малининский рисунок. Щербаков хорошо знал эту соблазнительную манеру, которой он долго подражал и от которой еле избавился.

Челюкин отполз, приладил фотоаппарат, сделал несколько снимков с картин.

- Чего вы пачкаетесь? - сказал Щербаков. - Все и без вас будет заснято. Фалеев позаботится. Альбомы изготовит, монографии будут. Улицу назовут.

Фотовспышка молниевое высветила дальние углы, следы ног на пыльном полу. Щербаков обиделся: Челюкин даже не взглянул на него.

- И что это в них такого вы обнаружили? - ядовито спросил Щербаков. - Такие Калинин пек одну за другой. - Из-за Челюкина Щербаков покинул поминки, надерзил Фалееву, а этот Челюкин и в ус не дует. - Улицы Петрова-Водкина нет, улиц Лентулова нет, а улица Калинин будет. Очень он подходит для классика. Всех устраивает.

Челюкин, пыхтя, поднялся, отряхнул колени, сказал кротко:

- Напрасно вы... Калинин - великий человек.

- Ух ты! Чем же он великий? Да еще человек! Если художник, то, слава богу, у нас есть мерки. Великий - это Врубель. Великий - Пикассо. - Щербаков тонко усмехнулся. - Так что не будем заниматься приписками. Мастер он хороший...

- Вы кто, художник? - спросил Челюкин.

- Да. И что? - с вызовом начал Щербаков. - Я-то как раз объективен. А вы кто, фотограф?

- Нет. Тоже художник. Бывший. Бывшая бездарность, - спокойно сказал Челюкин и сел в кресло. - Бывший директор художественного училища. - Он подумал. - Заслугу имею перед искусством - не стал художником. Разрисовывал конфетные коробки.

- А зачем фотографируете?

- Исчезает все. Страшно.

- Что исчезает?

- Стало вдруг исчезать. Однокашники... Ситный... Лошади...

Он называл вещи, уже неведомые Щербакову, смутные призраки из детства: молочницы с бидонами, крендели, ломовые извозчики, трубочисты, рабфаки... - Жизнь, от которой ничего не сохранилось, - коммиссионки, переполненные старыми картинами, гравюрами, барахолка, где можно было загнать собственную мазню, барахолка-толкучка, шумная, неожиданная, с находками, с толстыми альбомами, рамами, боже, какие там попадались роскошные рамы, там были олифы на льняном масле, кисти соболиного волоса...

Лицо его помолодело. Это был его мир, которого уже не будет; он фотографировал его, пытаясь запечатлеть остатки, последыши.

- С Мити даже маски не сняли. Когда-нибудь спохватятся. Я хоть успел нащелкать. Может, для этого меня судьба задерживает на земле.

Челюкин поймал невольную усмешку Щербакова, не смутился, кивнул, будто того и ждал.

- Вы когда-нибудь лично знали великого человека?

- Не приходилось, - сказал Щербаков.

- Хм, а откуда вам это известно?

- Не понимаю.

- Может, он рядом жил. Или живет. По вечерам вы с ним в картишки играете. Может, он в долг просил? А? Потом, после его смерти, откроется вам, что приятель ваш школьный был великий человек, а вы и не подозревали. Может такое быть?

- Это вы про Малинина?

- ...а вы его поучали, считали, что он дурачок, не умеет жить. Счастья своего не понимает. Господи, как будто я сам умею жить!

Он задыхался, нездоровая полнота мешала ему. Бледный, потный, он не обращал внимания на себя, видимо, не дорожа остатками своего существования. Черты лица его расплылись, фигура расплылась, трудно было представить, каким он был в молодости, какой была походка, все заросло, и характер наверняка сместился. Куда? Щербаков разглядывал его без сочувствия к перипетиям челюкинской жизни, как натуру, как заготовку для какого-то рисунка. Разглядывая людей, Щербаков всегда искал, чем бы тут поживиться, - у одного был интересный разрез глаз, у другого могучие руки. Челюкин был как развалины - но чего?

- ...а как распознать такого? Слава, она только путает. Слава чаще достается ловкачам. Есть ведь величие без славы? - спрашивал Челюкин, глядя мимо Щербакова. - На глубоком месте вода не бурлит, так ведь? Я его шпынял, вернуть старался на путь истинный. Не понимал, чего ему не хватает. Как можно все завоеванное, добытое трудами - отбросить! Знаете, что он мне в ответ?

- Что? - спросил Щербаков без интереса.

- Чуть что - он начинал петь.

Челюкин вскочил, запел - сипло, фальшиво, с чувством:

- Но грозные буквы давно на стене Чертит уж рука роковая!

Глаза его заблестели.

- Это он иносказательно! У него все было со значением. В Библии рука роковая кому начертила?

Щербаков пожал плечами.

- Ну как же, вспомните - царю Валтасару! Вот и Митя считал, что жил он Валтасаром, пировал, пока не прочел на стене знаки.

Ничего такого Щербаков вспомнить не мог. Библию он не читал, хотя не раз собирался, однако с пьяной хитростью стал подманивать Челюкина:

- То царь, а то Малинин. Он не пировал, он работал.

- Главный-то, средний знак что означал, а? - Подойдя к стене, Челюкин поднялся на цыпочки, стал пальцем чертить на ней и произносить торжественно, нараспев: - Ты взвешен на весах и найден очень легким!

Выглядело напыщенно, даже комично, но в словах было что-то устрашающее, опасное.

- Найден очень легким, - повторил Щербаков, встряхнул головой. - Ну и что? Работать-то он почему перестал?

- Не перестал. С чего вы взяли?

- Ага! Я так и думал. Но рука-то роковая была? - азартно спросил Щербаков. - Рассказывайте.

Челюкин непонятно усмехнулся, в руках его появился портфель, обыкновенный раздутый портфель командировочного, откуда были извлечены банка грибов, пол-литра, обмотанные вафельным полотенцем, пластмассовые стопки, ложечка, все это аккуратно и быстро разместилось на краю заваленного бумагами стола. Водка, как предупредил Челюкин, страшная, уральская, не для столичного пищевода, зато дух Мити, по его словам, будет витать здесь, а не над тем застольем.

- Вы в это верите? - спросил Щербаков.

Челюкин не ответил, посмотрел на него с жалостью, как смотрят на калеку.

Водка сивушным своим огнем прожгла все внутренности Щербакова, Так что он охнул, протрезвел и вцепился в Челюкина, выясняя тайну малининского исчезновения. Но Челюкин отвечал уклончиво, никак было его не ухватить. Говорил, что тайна эта не его и он не имеет права, говорил, что вообще никакой тайны нет, что все это ребячество, человеком надо интересоваться, потом спросил, зачем Щербакову нужна эта тайна, лучше ее не касаться... Взгляд его при этом заострился, и какое-то неприятное чувство остановило Щербакова.

На столе, за которым они расположились, высился бумажный сугроб. Альбомы, конверты, грамоты, билеты, открытки... Щербаков сунул руку в эту скользкую грудку, вытащил наугад какую-то малининскую репродукцию, красный мандат с печаткой "президиум". Попалась визитная карточка, вырезка статьи, каталог, заграничной выставки. Все было перемешано, видно, искали для похорон подходящую фотографию, документы, ордена. Из раскрытых папок вываливались краснополосые телеграммы, поздравления, подписанные известными когда-то лицами...

Щербаков хмыкал - былые салюты, угасшие огни иллюминации, снятые флаги расцветивания. Суета сует и всяческая суета.

- Кому это нужно? Зачем копить этот мусор? - сказал он. - Поздравляет товарищ А.Н.Зубарев. А где ныне этот Зубарев? Кто это имя сейчас помнит?

Круглая блестящая голова Челюкина согласно кивала, потом он сказал не споря, как бы соглашаясь.

- Для нас, провинциалов, одна такая бумажечка - ого! Поднимет и вознесет над проблемами быта. Шутка ли - подвал в столичной газете! Репродукция! Билет в президиум - вроде мишура, но какую силищу надо иметь, чтобы отвергнуть. А Митя презрел, отказался.

- От чего ж это он отказался?

- От всего.

- Не знаю, не знаю.

- От самого главного отказался.

- Чего вы темните?

Челюкин понюхал свою стопку.

- А вам зачем это?

- Сами виноваты. Великий, великий, а доказать не можете. Если великий, так чего ж скрывать? Все это труха, - Щербаков махнул рукой, и так решительно, что Челюкин забеспокоился.

- Допустим, я скажу вам, что Малинин скрылся, стал работать под чужим именем, так вы ж не поверите, верно?

- От кого скрылся? Чушь какая-то. Вы серьезно? Что за смысл?

- Никакого смысла, - с живостью подтвердил Челюкин. - Абсурд, я тоже так считал.

- Когда ж это случилось? С чего он?...

- После смерти жены. Надю знали? - Он стал рассказывать, как покойница обожала Малинина, как строила мастерскую.

Все эти подробности в тот момент казались Щербакову лишними, только мешали выяснить главный вопрос - зачем же от своего имени отказываться, от такого имени?

- Вот именно, совершенно точно, - соглашался Челюкин и снова продолжал о приезде к нему Малинина, тоскующего, ушедшего в себя.

- Стал он чинить нашу халупу на садовом участке, поселился там.

Пьянея, Челюкин распрямлялся, кончик носа его засветился красным цветом, взгляд очистился.

- Представляете: никому не известный пожилой работяга в ватнике приносит свои картины, а? Никто понятия не имеет, что это Малинин. Неизвестная подпись. Да и картины-то совсем непохожие.

- Как же он мог соблудить? Чтобы никому - ничего?

Челюкин легко отмахнулся.

- Нет, вы отвечайте, вы лично могли бы так? - и вперился маленькими глазками, где разгорался огонек. - Вы на себя примерьте и скажите.

- А зачем мне, зачем? - выкрикнул Щербаков.

- Ха, тут много может быть. - Челюкин приставил к груди Щербакова палец. - Чтобы никаких льгот и поблажек. Годится?

Преимущества имени и славы - чтобы не было их. Или, допустим, чтобы отвязаться от своих штампов. Вот вы, например, вы уже сложились. И вам надоело, вы хотите иначе, вам надо вырваться, отвязаться от себя.

- Да вырывайтесь, кто вам мешает, только зачем от себя отказываться?

- Я его тоже про это спрашивал... Я ему говорил: художник должен самим собой оставаться. Развивайся в любую сторону. Расти, как дерево, но чтобы корни были одни. А если я не деревом хочу быть, говорит он, а рощей, тогда что?

- Не понял.

- Сегодня одним, затем другим, если, говорит, во мне много разных людей, которых можно осуществить, тогда как?

Палец сильнее уткнулся в живот. Щербаков отстранился, разговор этот затягивал, что-то неприятное, даже опасное было в нем.

- Вы не вернетесь туда, к столу? - спросил Щербаков.

Челюкин посмотрел на него, понимающе усмехнулся.

- Да-да, вы идите.

От приставленного пальца внизу под ложечкой остался сосущий холодок. Проклятый вопрос этого толстяка словно затягивал в водоворот. В самом деле, мог бы он, Щербаков, автор уже отмеченной дипломной работы и трех спектаклей, мог бы он... начать подписывать вместо Щербакова... Даже передергивало от любой чужой фамилии.

Челюкин дожевывал грибок, спросил:

- Вы ничего не заметили в этих картинах?

- С какой стати я буду менять свою подпись, - сказал Щербаков. - Нет уж, извините. Искать себя - это я понимаю. Но - себя. Быть верным себе.

- Вы посмотрите внимательно, - продолжал Челюкин, не слушая его. - Откуда свет и куда падают тени. Нелепица. Он давно искал...

Щербаков нетерпеливо дернул плечом.

- Все это известно, лучше скажите - что ему дало это? Сменил он фамилию - и что?

- Вот вы чем все проверяете. - Челюкин покивал облезлой своей головой. - Результатом. Что с этого можно иметь. Главная нынешняя идея жизни. А ничего. - Он театрально

поклонился, развел руками. - Одни потери. Не устраивает?

- Но для чего, для чего? - все более возбуждаясь, крикнул Щербаков.

- Мистификация это. Одурачить хотел. - Челюкин говорил быстро, тихо, поглядывая куда-то вверх. - Если бы он не умер, получилось бы два больших художника. Не успел достигнуть до второго. А то представляете себе, какой бы вышел скандал? Два классика. - Челюкин хихикнул. - Две улицы... На самом деле все не так. Оброс он заученностью. Талант стал техникой. Надоел сам себе. А впрочем, может быть, не тупик, а вершина. Добрался до вершины - дальше куда? Вот он и спрыгнул. - Челюкин зашел к Щербакову сбоку, заглянул в глаза. - А может, тут совсем другое... Перед ним новая идея замаячила: писать то, чего не хотят видеть другие. Каково? То, что на самом деле творится у вас в душе, под вашими румяными щечками. А? Или кругом нас. Вся изнанка жизни, весь хаос, все скрытые чувства. Страшненько? - Он потер ладоши, опять обошел вокруг Щербакова. - Фактически-то я не поверил. Чтобы певец красоты и радости жизни так перестарался? Тут совсем другая причина должна быть.

От всей этой путаницы у Щербакова кружилась голова.

- Какого же черта вы меня морочите! - Он схватил Челюкина за отвороты пиджака, чтобы перестал мелькать перед глазами. - Я же с самого начала добиваюсь: какая причина?

- Вам тайну любопытно раскрыть. Что вам Митя!

- Будете вы говорить?

Щербаков затряс его, голова Челюкина податливо моталась и крохотная усмешечка тоже моталась по бледному его лицу. Сам он оказался легким, мягким.

- Чего говорить-то. Не знаю я ничего, - тихо и обессиленно признался Челюкин. - Упустил.

- Что упустил?

- Хотел он как-то открыться. А я отверг.

- Почему же?

Челюкин поправил очки, сказал покорно, как на допросе:

- В очередь побежал. Сосиски давали.

- При чем тут сосиски?

- Плевать мне было на его философию. Я ему нарочно - на-кася, пошла нашего хлебни после твоих столичных разносолов.

- О чем же он сказать хотел?

Челюкин пожал плечами.

- Так и не узнал. И не спрашивал больше. Изменился он с того времени. Ясный стал. Сосредоточенный. Пока он метался, он мне люб был, я думал - от неприятностей подался он к нам. А когда увидел его другим... Он, значит, дважды хотел меня обойти. Я ведь кто? Нуль. Он приехал к нулю и безо всего тут опять хотел подняться.

Жар прежней злости еще сквозил в его словах, но голос его звучал ровно и печально. Что-то бесстыдное и тягостное было для Щербакова в этих спокойно произносимых признаниях.

- Послушайте, Челюкин, при чем тут вы? - сказал Щербаков. - Зачем вы тут возникаете?

Челюкин поднял очки, маленькие глазки его смотрели колко и сухо.

- Ничего не поделаешь, без меня не получите. Считайте - взбесившийся гарнир. Осталось на тарелке немного холодного пюре... А Митю считали безумным. Оттого, что человек успокоился, просветлел, от этого он у нас кажется безумным. Новые картины его тоже повод давали. Я слухов этих не отвергал. Заслонить его хотел. С безумного какой спрос? Безумство его безобидное. Малюет, допустим, затылки. Я и в самом деле убеждал себя, что он того. Оправдание своей подлости делал.

- Что вы мне плачетесь? - сказал Щербаков. - Вашим признаниям теперь грош цена. Ничего они не стоят.

Опять вышло слишком резко, безжалостно, так, что Челюкин съежился, замолчал. Потом произнес удивленно:

- Отчего мне так тяжело? Значит, это ничего не стоит? - Он смотрел вверх, под потолок, в грязные пятна потеков. - Единственный шанс мне выпал в жизни - и тот упустил. А почему? Мы никак не смиримся, что другой человек может быть совсем не таким, как мы. - Он покачал головой. - Что же, Щербаков, будете делать с этим?... Великовато для вас.

В мастерской еще не расходились, пили чай с вареньем. Фалеев тоненько пел "Летят утки", подпевали ему вразнобой, хмельно и мякло. Табачный дым колыхался над столом, было шумно, жарко. При появлении Щербакова все стало смолкать. Вид у него был оглушенный и несколько затуманенный, как будто его сильно стукнули по голове. Что с ним, никто не успел

спросить, он начал сам, лунатически, каким-то растерянным голосом: "А вы знаете..." Другой бы подождал, пришел в себя; спросили бы - ответил; всегда выгоднее отвечать на вопросы, чем навязываться со своим рассказом. Но в ту пору Щербаков еще был доверчив и не понимал выгоды. Терпения ему не хватало.

Слушали его с любопытством. Про то, как Малинин уехал, провел последние годы на Урале, в городке, где Челюкин заведовал художественной школой. Там Малинин уединился, стал работать, ничем не позволяя себе пользоваться от прошлого, даже внешность изменил. Челюкин устроил его работы на областную выставку. Разразился скандал. Впрочем, Малинина это мало огорчало, он был занят своими поисками. К сожалению, Щербаков не сумел объяснить, в чем состояли эти поиски. И что за городок на Урале - не упомянул, как-то прослушал и то, под каким псевдонимом работал Малинин, все это в разговоре с Челюкиным представлялось не важным, теперь же вызвало законные вопросы. Щербаков отмахивался от них, и рассказ терял убедительность. Кто-то засмеялся - может, он разыгрывает их? Алла уговаривала его выпить крепкого чаю. Он почувствовал, что ему не верят, и сбился. Он не понимал, для чего им нужны адреса, фамилии, все это только мешало, разве это важно, подробности можно выяснить у того же Челюкина. Отправились за Челюкиным, но найти его не могли.

После чая Щербакова развезло. Он вытирал губы от набегавшей слюны и говорил все громче:

- Проститься с миром! Без сожаления! Понимаете? Раз Челюкин признал себя ничтожеством, я ему верю. Тогда ответьте, где же пребывал Малинин последние годы, а? Опровержение имеется? То-то!

Тут Фалеев, кисло кривясь, заметил - мало ли что наплетут безответственные типы вроде Челюкина. Следует критически относиться к такого рода измышлениям. Многие теперь будут клеиться к имени Малинина, не постесняются. Ишь ты, какую криминальную историю расписал. Ну да она рассчитана на легковверных, на тех, кто плохо знал Малинина, его жизнелюбство... Говорил он тоном посвященного, но без насмешки, даже как бы выручая Щербакова, пробуя все закруглить в анекдот, а как анекдот, преподнесенный Щербаковым, такая версия допустима и может служить предметом веселых обсуждений. От Щербакова требовалось вздохнуть, посмеяться. Он же повел себя бестактно, заспорил с Фалеевым, доказывая, что все так и было, хотя никаких доказательств не приводил. Размахивая руками, разбил фужер, и тогда Фалеев постучал пальцем по столу и сказал строго, что имя Малинина отныне принадлежит истории нашего искусства и трепать его никому не будет позволено.

Алла тащила Щербакова прочь от Фалеева.

- Не принимайте его всерьез, - уверяла она, - поддали они там.

"Не принимайте всерьез" - более всего обидело Щербакова. Среди этих красных, лоснящихся, поглупевших от водки физиономий он не находил ни одной, где мелькнуло бы хотя бы сочувствие. У него не было здесь друзей. Жалость к себе пронзила его - ни одного друга, в сущности, нигде у него нет, друга, которому интересны его чувства и мысли. Господи, как он одинок! Накрашенное лицо Аллы расплылось.

- Кто из вас на такое способен? Никто! - выкрикнул он. - Вставил вам Малинин фитиль! Не нравится?

От увещаний он пуще расходился, совсем по-пьяному куражась, так что пришлось вывести его. Сделал это Андрианов, единственный, кого Щербаков послушался.

На улице было светло от снега. Белизна, еще непривычная глазу, замалевала газоны, крыши, деревья, подоконники. Стало празднично чисто, город словно прибрался. Андрианову расхотелось возвращаться назад.

- Пойду домой, - сказал он. - Черт с ними. Поминки долгие, память короткая. Алку я предупредил, она Фалееву объяснит, что ты из-за нее взбеленился; Заревновал. Потому что с Фалеевым лучше не связываться, он из тебя любой гибрид сделает.

На улице было тихо, шагов не слышно. Это от снега, - сообразил Щербаков и обрадовался своей догадливости.

- А чего он грозится?

- Потому что ты, дурила, замахнулся на источник его существования. Ну к чему Фалееву твоя сомнительная история?

- Ты, значит, тоже не веришь?

Андрианов поиграл зонтиком, промурлыкал:

- Верила, верила.

А на себе проверила.

Потом сказал, посмеиваясь:

- Ну, верю, что дальше?

- Почему же ты не вмешался? Ведь это событие. Оно все меняет.

- Ничего не меняет. Тут не знаешь, как самим собой остаться, свое бесценное "я" сохранить. Нет, дорогуша, все это фантазии. Открывать в себе другую личность! Могу таким, могу этаким, - задразнился Андрианов, - могу новую жизнь начать, ах, сколько во мне всего... Жизнь нельзя начинать сначала, ее продолжать можно, - твердо, с раздражением подытожил Андрианов. - Ясно тебе?

- Но Малинин сумел. Он-то начал сначала.

- И что? - прикрикнул Андрианов. - И что?... Пшик! Что получилось? Пшик! Так ему и надо. Я говорил ему! И поделом.

- Это за что так?

Андрианов не отвечал, с силой тыкал зонтиком снег, оставляя темные дырки. Никогда он еще не был таким. Было привычно, что Андрианов неуязвим, все скатывалось с него бесследно. Блестящий и непромокаемый, как клеенка, - подтрунивал Щербаков, втайне при этом завидуя и восхищаясь им.

Некоторое время они шли молча. Щербаков дышал глубоко, трезвея от морозного воздуха.

- В конце концов, дело не в результате, - сказал он, - дело в идее.

- Ах ты птичка-алкоголичка! Витатель ты. В нашем деле, заруби себе, все решает результат... Сам он не добился и нам не дал. Я ему простить не могу.

- Чего?

- По его милости мы заказа лишились. Какой заказ уплыл! Дворец молодежи оформлять! Чуешь? Верная премия светила. Всей группе. Отказался. Видите ли, это не соответствовало его поискам. Эта старая задница искала иное самовыражение. Так его растак. Только о себе думал, о себе неповторимом, единственном.

- Нет, ты не прав, он не обязан был...

- Ему-то что, он все получил, обожрался, видите ли, захотел по второму кругу пройти... Спеси больше, чем таланту. Чего дадено, за то и благодари.

Красивое лицо его перекосилось, он совсем не походил на того Андрианова, которого все любили и который всех любил, который был счастливым, баловнем судьбы, не нажившим себе врагов, - прекраснейшее исключение в этом мире.

- Ну знаешь, это как расценивать... - Но вдруг Щербаков остановился, пораженный догадкой. - Подожди-ка, значит, ты знал?

- Аа-а, про это... - Андрианов усмехнулся зло. - А ты, тяпа, думал, что никто ничего? В наше время не укроешься.

Слова его значили, что, может, и другие, тот же Фалеев, знали, но виду не подали, кивали, удивлялись, выспрашивали. Самообладание этих людей, непроницаемость их ужаснула Щербакова.

- Как же ты мог, когда надо мною... - он смотрел на Андрианова по-новому, со страхом.

- Ко мне не вяжись, - предупредил Андрианов с металлическим холодком. - Если при жизни Малинин считал нужным скрывать какие-то вещи, то нечего ковыряться и болтать. Есть Малинин, есть его работы, остальное не наше дело.

Не мигая, Щербаков смотрел прямо перед собою, чувствуя слезы в глазах. Они стояли там, постыдные, детские слезы, он ничего не мог поделаться с "собойю.

- ...Ты поверил этому чайнику уральскому? Тогда тем более не суйся. Был Малинин стал Немалинин. И не надо их путать. Не надо, - чеканил Андрианов. - Малинин - мой учитель. Твой тоже, кстати. Учитель - это марка. Родословная. Фирма. Родословная должна быть чистой.

Они вышли на проспект. Горели высокие фонари. Снег был затоптан. Дул ветер. Щербаков вытер глаза, откашлялся.

- Чего ж тут плохого? История эта украшает биографию Малинина. Конечно, если успех мерить премиями...

- Уймись, - оборвал его Андрианов. - О каком успехе ты говоришь? Хочешь, дадим тебе командировку творческую? Поезжай, убедишься. - Он был снова весел, красив, и глаза его приветливо лучились.

Три года спустя открывали мемориальную доску на доме, где жил Малинин. Движение на улице было перекрыто. Пришли пионеры, студенты, представители предприятий. Щербаков стоял у трибуны и разглядывал толпу. Челюкина не было. Щербаков и не ждал увидеть его, и все же искал, просматривая ряд за рядом. Выступал Фалеев. Он раздался вширь, голос его загустел, облачка пара вылетали из его рта то маленькие, то побольше и таяли на искристом морозце. Наверху, в синем небе, плыли такие же круглые облачка. Доска была толстая, из серого гранита, чувствовалась ее тяжесть. На доске, чуть выступая, белел барельеф - строгий профиль Малинина, классически правильный, как на камее. Почему-то в памяти Щербакова всплыло - "ты взвешен на весах и найден очень легким", это звучало как стих.

- Выглядит вполне, - сказал Андрианов.

- Сделано со вкусом, - подтвердил Щербаков и наклонился к Андрианову. - Я иногда думаю, почему он не вернулся... Если не получалось, мог сюда вернуться? А он и не

собирался. Что-то, значит, ему светило.

- Лучше бы ты думал над своими делами, - сказал Андрианов. - Кто же персональную выставку в кинотеатре устраивает. Не серьезно. Ты обратись к Нине Гургановне, я ей скажу.

Цоколь малининского дома вскоре выложили коричневой плиткой, доску перевесили к воротам, освободив место для вывески блинной. Сама блинная заняла весь нижний этаж. Оттуда всегда валит пар и слышна музыка. Поэтому, когда Щербакову предложили бывшую мастерскую Малинина, он отказался. Антресоли были уже убраны, бронзовые ручки сняты... И слишком шумно внизу. Истинная причина, однако, состояла в чувстве, которое охватило его среди этих стен. Не по себе ему стало. Как будто что-то ему тут могли сказать или сам он должен был что-то сказать, спросить, сделать, а что именно - не знал.

Мастерскую Щербаков получил в новом квартале, огромную, двухсветную, с квартирой, - кстати, неподалеку от переезда, за которым начинается кладбище.

Весной Щербаков иногда приходит туда. Всякий раз долго путается в узких аллеях надгробий и памятников. Отыскав могилу Малинина, он садится на скамейку и задумчиво смотрит на тесное нагромождение разных памятников, дорогих и скромных, ухоженных и забытых, безвкусных и строгих, вся эта мешанина заботливо и одинаково присыпана прелым бурым листом. Напротив огромное многоэтажье белых корпусов, сотни окон.

Поют, заливаются птицы, и Щербаков незаметно начинает мечтать, как он уедет в маленьким городишко, в какую-нибудь глухомань, и будет там писать всякую всячину без мыслей о выставке и заказах. Думать об этом приятно и грустно. Он вспоминает историю с Малининым, все то, что рассказал Челюкин, но, странно, история эта кажется ему все сомнительней, поступок Малинина стал вовсе необъяснимым. И все же что-то тревожит и досаждаст Щербакову, особенно здесь, у этого надгробия. Следовало бы съездить туда, к Челюкину, хотя, наверное, его уже нет в живых. Да и было ли все это? Он сидит, сняв шапку, на теплом солнце и чего-то медлит, ждет, зная, что потом будет ругать себя за впустую потраченное время.

* * *

Truyện ngắn Nga
GHI ĐỜ MÔPATXĂNG
Tác giả: Isaac Babel

* * *

Ngô Thế Phúc dịch

Biên tập
Lê Thanh Minh
Trình bày, bìa, tạo Ebook
matthoigian2001@

* * *



Copyright © Dịch giả giữ Bản quyền

MỤC LỤC

Tiểu sử

Исаак Бабель, Ги де Мопассан, Беня Крик и другие

GHỊ ĐỒ MÔPACXĂNG

Гюи Де Мопассан

Tiểu sử

Биография

NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT LÊN CÂN...

Даниил Гранин. Ты взвешен на весах...

Chú thích

[← 1]

Mặt trời nước Pháp (tiếng Pháp)

[← 2]

Người đẹp của tôi (tiếng Pháp)

[← 3]

Cái anh chàng Polit quý sử kia (tiếng Pháp)

[← 4]

Mời anh bạn của tôi (tiếng Pháp)

[← 5]

солнце Франции (фр.)

[← 6]

красавица (фр.)

[← 7]

этот пройдоха Полит... (фр.)

[← 8]

дружок (фр.)

[← 9]

Sách Daniël, Chương V, đoạn 5 (ND)

[← 10]

Sách Daniel, Chương V, đoạn 27 (ND)

[← 11]

Ý nói: “làm cho sống trong nơm nớp sợ hãi, bất an” (Chú thích của ND)